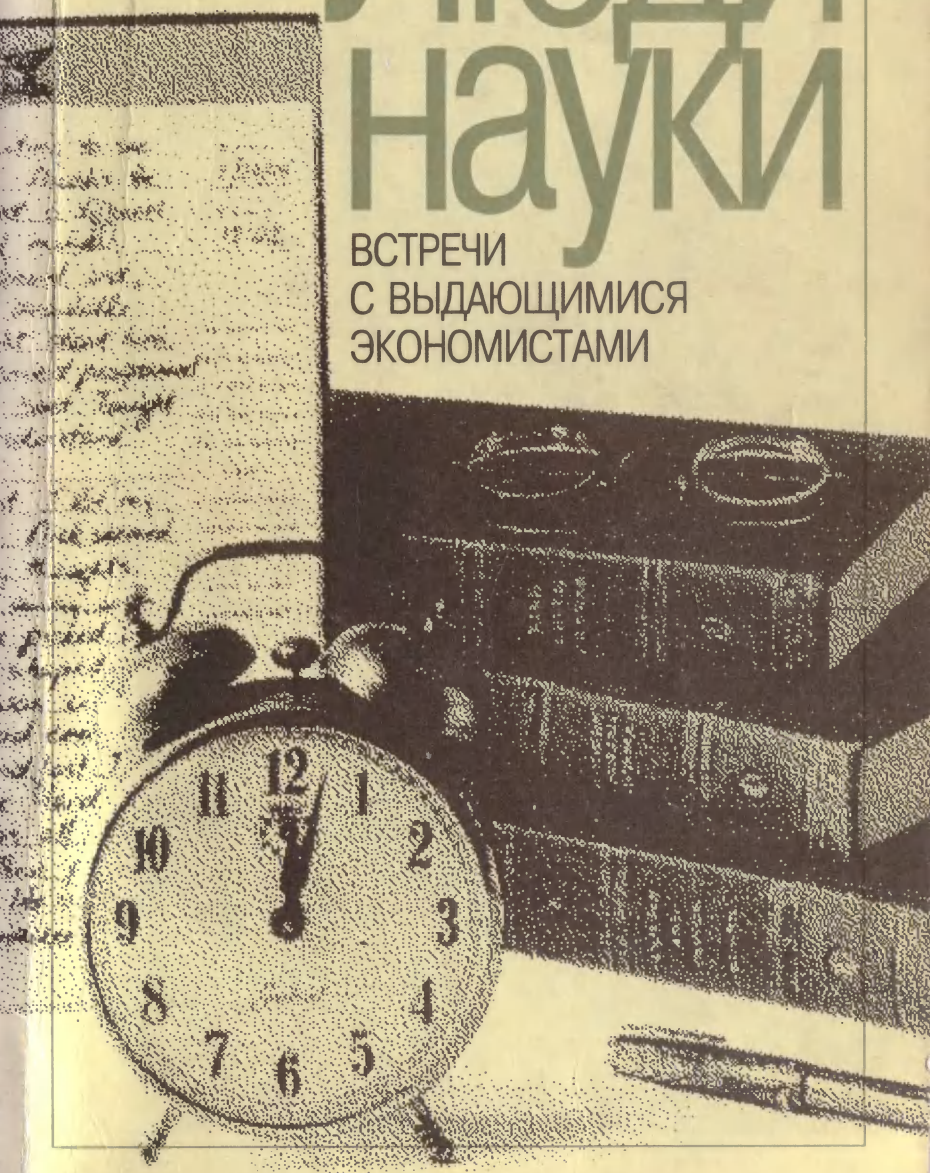
А.В.АНИКИН

Люди науки

ВСТРЕЧИ С ВЫДАЮЩИМИСЯ ЭКОНОМИСТАМИ



А.В.АНИКИН

Люди науки

ВСТРЕЧИ С ВЫДАЮЩИМИСЯ ЭКОНОМИСТАМИ

Академия народного хозяйства
при Правительстве Российской
Федерации

Москва
ДЕЛО Лтд

ББК 65.02
А 67

*Книга издана при финансовом содействии
Московского акционерного
коммерческого банка ФОРА БАНК
и акционерного общества АЛМАС ТРАСТ*

Аникин А.В.

А 67 Люди науки. Встречи с выдающимися экономистами. — М.: "Дело Лтд", 1995. — 96 с.

ISBN 5—86461—198—0

Автор рассказывает о совместной работе, встречах и беседах с известными учеными-экономистами России, США, Великобритании, среди которых пять лауреатов Нобелевской премии. В книге интересно рассказывается об этих людях, а также содержатся сжатые характеристики их идей и вклада в науку и хозяйственную практику. Острыми штрихами автор прочерчивает пути развития экономической науки в СССР и России в 40—90-е годы. В книге много любопытных фактов и заслуживающих внимания наблюдений.

А $\frac{0603000000 - 072}{4М4(03) - 95}$ Без объявл. **ББК 65.02**

ISBN 5—86461—198—0

© А.В. Аникин, 1995

Несколько вводных слов

Известный писатель Владимир Войнович недавно так сказал журналисту: в своей мемуарной книге я хотел бы, пока не поздно, поделиться с людьми тем, что "у меня осталось". Разумеется, я не рассчитываю на читательскую массу Войновича, но руководствуюсь примерно той же мыслью.

Несмотря на длительный экономический кризис в нашей стране, люди надеются, что экономисты придумают какой-то выход. Впрочем, отношение к этой профессии весьма противоречивое, нередко скептическое. Кем были (или кто есть) большие ученые-экономисты, с которыми сталкивала меня жизнь? Что они сделали в науке и какое практическое значение имеют их идеи и труды? В этой книге я пытаюсь рассказать об этих людях что-то личное, интересное, значительное. Может быть, порой такое, что помню я один.

Мне помогли воспоминаниями и советами Б.М. Болотин, А.А. Дынкин, М.А. Иванов, Дж. М. Летиш, Н.Н. Ливенцев, И.М. Осадчая, Я.А. Певзнер, С.В. Пятенко, Е.М. Четыркин. Всем им — искренняя благодарность. Никто из них не несет ответственности за суждения и оценки, содержащиеся в книге. Я также благодарен моим ученикам и коллегам, поддержавшим замысел этой книги.

Москва, июнь 1995 г. **А. Аникин**

Опыты быстротекущей жизни

В 1969 г. были впервые присуждены Нобелевские премии по экономике. За четверть века 37 ученых удостоены этой чести. Авторитет премии по экономике теперь столь же неоспорим, как в естественных науках.

Среди экономистов-лауреатов один советский (российский) ученый (Л.В. Канторович) и два уроженца России (Саймон Кузнец и Василий Леонтьев). Со всеми тремя выдающимися мыслителями мне пришлось встречаться, беседовать, работать.

Жизнь сталкивала меня со многими другими яркими людьми из мира экономической науки. Их ранг в науке различен. Всемирно известен лауреат Нобелевской премии Пол Самуэльсон; несравненно скромнее личность профессора Николая Николаевича Любимова, который был одним из моих учителей в институте. Тем не менее, думаю, будет интересно рассказать и о том, и о другом.

Взялся я за эту работу после долгих размышлений и сомнений. Требуется, мягко говоря, некоторая смелость, чтобы предлагать читателю рассказ о крупном человеке, с которым ты, может быть, говорил всего пару часов и научный путь которого ты не всегда в состоянии по-настоящему изучить.

Подумав и поколебавшись, я решил, что игра стоит свеч. Я не претендую на сколько-нибудь полный анализ трудов и достижений моих персонажей. Это требует другого объема и иного жанра. Но я надеюсь, что все же могут быть полезны и интересны эти скромные (но, безусловно, личные!) наблюдения и заметки, больше толкующие о человеческих особенностях (и порой о человеческих слабостях) моих знаменитых знакомых.

Встречи, о которых я пишу, происходили на протяжении почти полустолетия. Как говорится, за это время мно-

го воды утекло. В России это время от последних лет железобетонного "культа личности" до наших растерзанных дней. На Западе — от послевоенного бедного американоцентричного мира до современного материального и научного богатства. Не знаю, можно ли это назвать расцветом науки, но тысячи университетов во всем мире обучают экономике, число научных и деловых журналов исчисляется сотнями, публикуются горы книг по экономике и бизнесу, проводятся бесчисленные конференции и симпозиумы.

Эпоха будет выступать важным действующим лицом в моей книге. Но прежде всего это книга *о людях*. О тех, кто ушел, писать, конечно, легче: они не возразят, если ошибешься и даже приврешь. Они уже не могут измениться, повернуться какой-то новой стороной. А вот общественное мнение о них может очень и очень измениться. Здесь, в России, мы к этому как-то привыкли...

К счастью, иные из тех, о ком хочется написать, живы, и дай им Бог долгие годы. Я надеюсь, они простят мне возможные неточности и неизбежно субъективные суждения.

Я учился в Институте внешней торговли, который позже влился в известный многим Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Не пытаясь оценить это образование в целом, скажу лишь, что оно во всяком случае дало мне сносное знание иностранных языков, особенно английского.

В 1949—1957 гг. я работал в центральном государственном аппарате СССР — в Министерстве внешней торговли и Государственном комитете по экономическим связям. Однако занимался не столько оперативной, сколько аналитической (и отчасти научно-исследовательской) работой. С 1957 г. я работаю в Институте мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук (ИМЭМО), а с 1965 г. также в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Эти автобиографические факты могут быть существенны для восприятия некоторых деталей.

Работа в государственном аппарате дала мне своеобразный и по-своему полезный опыт. Со своего невысокого в служебной иерархии уровня я все же видел, как реша-

лись важные вопросы в тоталитарной системе. Вспоминается такой факт. С 1 марта 1950 г. был произведен так называемый перевод рубля на золотую базу. По существу, дело свелось к повышению официального, каменно-твердого курса рубля с 19 американских центов до 25. Привычнее были такие цифры: доллар стал стоить 4 рубля вместо 5 рублей 30 копеек. В коридорах Министерства внешней торговли рассказывали под секретом байку, явно спустившуюся откуда-то сверху. Подавая указ на подпись Сталину, министр финансов осмелился все же заметить, что новый курс слишком высок для рубля и вызовет недовольство иностранцев, которые вынуждены будут обменивать свой доллар всего лишь на 4 рубля, тогда как в действительности он стоит значительно больше. Сталин сказал: "Хватит с них" и подписал указ. Экономические закономерности все же пробили себе дорогу: вскоре после смерти Сталина был введен по неторговым операциям льготный для иностранцев курс: 10 рублей за 1 доллар.

Многое изменилось в том мире, в котором я тогда жил, после 1953 г., в новую — хрущевскую — эпоху. Весной 1956 г., вскоре после XX съезда КПСС, где-то в верхах родилась идея "выведения рубля на мировую арену". Эту амбициозную, но смутную идею надо было перевести на язык валютно-финансовых реалий, чем мне и пришлось заниматься в составе большой комиссии специалистов, включавшей несколько министров и их заместителей. Главой комиссии был секретарь ЦК Д.Т. Шепилов. Это был тот самый Шепилов, который в следующем году получил пожизненный ярлык "и примкнувший к ним". Так он был назван в документах, клеймивших "антипартийную группу Молотова, Маленкова и Кагановича". Уж не знаю, почему он не удостоился статуса полноправного члена этой группы, разгромленной Хрущевым в ходе ожесточенной борьбы в высшем руководстве.

Шепилов запомнился мне как очень хорошо одетый и, что называется, вальяжный мужчина средних лет. Ему было, конечно, нелегко разобраться в достаточно сложной сущности дела, но он разумно не напускал на себя вид всепонимания и терпеливо вникал в бумаги и речи.

Работа эта продолжалась месяца полтора или два. Излишне говорить, что рубль мы никуда не вывели, он так и

остался замкнутой "дефектной" валютой, парией среди мировых валют во главе с долларом. Комиссия тихо умерла, оставив после себя лишь кучу строго засекреченных бумаг.

Что меня поразило, так это малая компетентность профессоров—экономистов и финансистов, приглашенных высказать свои мнения перед комиссией. Но объяснялось это не их личной ущербностью, а совсем другим: у них никогда не было допуска к секретным делам и документам. Между тем вся валютная политика была, безусловно, засекречена. Профессора просто не могли знать, что на самом деле происходит в этой сфере, а в преподавании были вынуждены ограничиваться пустыми общими фразами. Теперь-то мне стыдно, но тогда, помнится, я испытывал довольно глупое чувство превосходства над профессурой: я имел допуск и уже несколько лет варился в котле реальных проблем.

До смерти Сталина я, кажется, не видел ни одного живого западного иностранца. Наши понятия о западной экономической науке были весьма смутными. Выходили книги, где вместо научного анализа были одни марксистские заклинания и грубая ругань. Единственной серьезной книгой по экономической теории, изданной в русском переводе, была "Общая теория занятости, процента и денег" Дж. М. Кейнса. Ходили слухи, что она вышла в свет по личному указанию Сталина, которого якобы Черчилль спросил при одной из встреч, знают ли в России Кейнса. Может быть, это легенда, но она правдоподобна. Это не защитило, однако, переводчика книги профессора Любимова. В 1948—1950 гг., во время погрома так называемых космополитов, его обвинили в чрезмерных симпатиях к Кейнсу и "буржуазном объективизме".

Эти погромные инквизиторские собрания и заседания, которые обнажали глубину человеческой низости (и в редких случаях — высоту благородства), — самые яркие "научные" впечатления моих молодых лет. Особенно памятен мне "суд" над Львом Абрамовичем Мендельсоном, вполне правоверным марксистом, но притом серьезным исследователем капиталистического цикла. Это было, если я не ошибаюсь, весной 1950 г. в актовом зале Института экономики АН СССР на Волхонке. Застывшее, как ма-

ска, бледное до синевы лицо "подсудимого", хитроумные речи ораторов — то политически-прокурорские, то адвокатские в манере того времени: безусловно, виновен, но заслуживает некоторого снисхождения...

К Мендельсону пристегнули второго обвиняемого — профессора П.К. Фигурнова. Если первый был автором капитальных трудов, дававших простор для выискивания ереси, то за душой у Фигурнова не было ничего, кроме полуучебных брошюрок, абсолютно безупречных в смысле проникновения чуждой идеологии. Надо было очень постараться, чтобы найти в них "ошибки", но это не смутило прокуроров. Я подозреваю, что Фигурнова выбрали в компаньоны Мендельсону только для того, чтобы "суд" не выглядел антисемитским. Такой цинизм был вполне в духе времени.

Вместительный зал здания на Волхонке, на котором тогда имелась чугунная доска в память какого-то эпохального выступления Сталина в 20-х годах, был забит до отказа. Вместе с людьми старших поколений было много аспирантов и студентов. Кто может оценить вред, нанесенный научной морали и психологии молодого поколения такими судилищами? Думаю, этот вред ощущается в нашей экономической науке и теперь.

В то время выработался определенный тип научного "громилы" — чаще всего невежественного и ограниченного начетчика, готового по указанию сверху или по собственной инициативе пустить в ход против кого угодно стандартный арсенал обвинений, которые теперь могут вызвать только смех, но тогда для некоторых звучали как смертный приговор. В Институте внешней торговли, где я учился, был преподаватель-юрист Карадже-Искров, серб по национальности. Он изучал проблемы международного права и в 1931 или 1932 г. послал в немецкий научный журнал свою статью. Журнал, как это бывает во всем мире, продержал рукопись довольно долгое время в своем портфеле и опубликовал ее уже после прихода Гитлера к власти (начало 1933 г.). Этого человека обвинили в том, что он печатался в "гитлеровских изданиях", и никакие объяснения не могли ему помочь. Затравленный сворой "громил" и трусливых чиновников, Карадже-Искров покончил жизнь самоубийством.

Учебные заведения и издательства, жестко контролируемые партийными охранителями, ставили почти непреодолимый заслон для проникновения западных общественных идей, в том числе экономической науки. Редкостью стали профессора, способные хоть что-то внятно рассказать студентам об этом. Одним из таких исключений был профессор И.Г. Блюмин. Его студентка в Московском университете и моя многолетняя коллега Ирина Осадчая говорит, что на его лекциях студентам приоткрывалось какое-то окно в другой мир — мир строгих научных построений, теорем и доказательств. И это несмотря на то, что лектор был вынужден сдабривать свое блюдо обильным словесным соусом из догм марксизма-ленинизма. О Блюмине я расскажу далее подробнее.

Но Блюмин и близкие к нему молодые ученые были редким исключением. В целом же советские экономисты образовали секту, совершенно изолированную от мировой науки. Вплоть до оттепели середины 50-х годов очень многие считали не только бесполезным, но и просто опасным читать и знать западных немарксистских экономистов и других ученых.

В такой обстановке я набирался ума, писал и защитил (в 1953 г.) кандидатскую диссертацию. Конечно, я не был девственно невежествен, поскольку в прикладной области (финансы и международная валютная проблема) кое-что читал. Но о других областях экономической науки знал мало.

Когда в 1954—1955 гг. я стал приобщаться к работе экономических комиссий ООН и читать их материалы, то сначала путал capital-output ratio (капиталоемкость) и input-output analysis (анализ затрат и выпуска). Это, наверное, все равно что спутать, скажем, хромосому с хромолитографией...

И последнее — но очень важное — в этом вступительном очерке. Ни у кого не вызывает сомнения, что Эйнштейн и Бор или, скажем, Капица и Вавилов были великими учеными. Их теории и труды подготовили революцию в физике и биологии, привели к прорывам в технике — от ядерной энергии до генной инженерии. Можно ли сказать то же самое об экономистах-теоретиках? Дискуссии по этому вопросу идут с давних пор и едва ли когда-

либо приведут, как у нас теперь модно говорить, к консенсусу.

Экономист не может поставить эксперимент и проверить правильность теории. Он не может быть уверен, что данные причины всегда будут вызывать утверждаемые теорией следствия. Процессы в человеческом обществе не только имеют некоторые схожие черты с процессами в природе, но и принципиально отличаются от них.

Кейнс в "Общей теории" писал, что оптимистические теории экономистов о возможности гармоничного и благотворного развития во многом опровергались жизнью — экономическими кризисами, массовой безработицей, бедностью. В результате со стороны публики "стало заметно все меньше и меньше склонности относиться к экономистам с тем же уважением, как к другим группам ученых, у которых теоретические выводы, когда их применяют на практике, согласуются с наблюдениями".

Вероятно, он надеялся своими трудами внести вклад в устранение этой тенденции. Произошло ли это? Встали ли экономисты в один ряд с физиками и биологами? Если судить по учреждению и присуждению Нобелевской премии, то да. Если посмотреть поглубже, то, пожалуй, полной уверенности в этом нет.

Конечно, микроэкономика, которая рассматривает процессы на уровне экономических единиц (потребителей, фирм), достигла немалых успехов в разработке способов оптимального использования ограниченных ресурсов. Макроэкономика, анализирующая процессы на уровне национального и мирового хозяйства, многое объяснила в природе экономического роста и факторов, его сдерживающих. Может быть, самым убедительным доводом в пользу успехов экономической науки и связанной с ней политики является то, что на протяжении периода после второй мировой войны промышленные страны Запада развивались успешно и без серьезных кризисов. Ряд ранее отсталых стран тоже имеет неплохие результаты, а некоторые, например Южная Корея и Тайвань, вырвались далеко вперед.

И все же разумные экономисты будут достаточно скромны, чтобы признать: мы не можем с полной определенностью утверждать, что именно экономическая наука

дала людям в руки инструменты этого роста. Боюсь, что в России и вовсе никто не скажет доброго слова об экономистах. Многие академики перебывали в советниках и министрах сначала у Горбачева, а потом у Ельцина, но экономический кризис невиданной глубины продолжается. Есть ли тут вина экономистов? Вероятно, есть, хотя легко можно назвать объективные и гораздо более глубокие причины кризиса: непреодоленное наследие реального социализма, нерешительность и распри политиков...

Здесь остается только поставить многоточие. Согласимся как минимум признать, что выдающиеся экономисты помогли нам лучше понять важные закономерности развития человеческого общества, его материальной жизни. Вполне вероятно, что их труды и усилия помогли улучшить жизнь некоторой части населения земного шара. Наконец, каковы бы ни были неудачи и промахи экономистов, без их специальных знаний управление современными государствами, в том числе Россией, вряд ли возможно.

Многие читатели, вероятно, узнали в заголовке этого очерка фразу из "Бориса Годунова" Пушкина. Царь Борис говорит сыну:

Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни...

Я понимаю это так. Жизнь коротка, и наука позволяет легче проходить через испытания, которые эта жизнь нам преподносит, позволяет более "эффективно" распоряжаться самым дефицитным ресурсом — временем...

Саймон С. Кузнец *(1901—1985)*

Осенью 1955 г. я провел три недели в Бангкоке, столице Таиланда, на сессии рабочей группы Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока (теперь — для стран Азии и Тихого океана). Все это время я сидел рядом с американским профессором Саймоном Кузнецом, буду-

щим Нобелевским лауреатом. Тогда он преподавал в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Рабочая группа обсуждала итоги и перспективы развития стран региона. Уровни мышления Кузнеца и остальных участников были несопоставимы. Европейские державы отделались от этого рутинного дела тем, что послали своих дипломатов, сидевших в Таиланде или соседних странах. Индия, Цейлон и еще некоторые страны были представлены молодыми людьми, недавно вышедшими из университетов. Нашу делегацию, состоявшую из четырех человек, возглавлял госплановский бюрократ сталинских времен, впрочем, человек по-своему неглупый и гибкий.

Своим отсутствием в Бангкоке выделялся еще не признанный Западом Китай; проблемы этой страны, население которой составляет добрую половину населения всего региона, вовсе не рассматривались. Я также не помню, чтобы какую-либо роль играла в этих обсуждениях Япония. Еще не было вовсе такой страны, как Бангладеш, и Пакистан состоял из двух частей — Западного и Восточного. Был молодой молчаливый афганец в каком-то экзотическом одеянии, был маленький камбоджиец, представлявший королевское правительство тогда еще мирной и благополучной страны.

В основном дискуссии вращались вокруг экономики Индии, Пакистана, Бирмы, Цейлона, которым англичане оставили неплохую статистическую службу, обеспечившую комиссию удовлетворительным материалом.

Задача сессии заключалась в том, чтобы подготовить согласованный аналитический документ, который можно было бы представить правительствам стран-участниц. Дело подвигалось медленно и трудно. Политические разногласия, профессионально экономические сложности, языковые трудности — все это накладывало на дискуссию свой отпечаток. Для многих участников сложные вопросы экономики развития были темным лесом. Когда все эти непрофессионалы запутывали какой-нибудь вопрос, слово брал — по своей инициативе или по просьбе председателя — Кузнец, скромный, деликатный человек с тихим голосом, неторопливой и четкой профессорской речью и характерной внешностью русского провинциального еврея. Никого не задевая, он быстро заменял туманные разговоры бо-

лее или менее строгим анализом. Через десять — пятнадцать минут все становилось на свои места, и мы удивлялись, как мы этого раньше не понимали и не замечали. Его умение разложить сложный вопрос на простые и ясные составляющие восхищало. Кузнец формально считался главой американской делегации. Грешным делом, думаю, что ему просто захотелось съездить за казенный счет в экзотическую и далекую страну. Два других американца были чиновниками госдепартамента и активного участия в дискуссиях не принимали, а потом и вовсе перестали ходить на заседания. Кузнец же исправно отсиживал долгие часы, и на нем держалась вся конференция.

В своих многочисленных выступлениях и при поисках приемлемых формулировок Кузнец был подчеркнуто аполитичен, так что, слушая его, можно было забыть, какую страну он, собственно, представляет. Это составляло сильный контраст с нашим поведением. Должен сознаться, что я больше помалкивал, но глава нашей делегации, буквально выполняя утвержденные московским начальством инструкции, только и делал что агитировал азиатов за социализм, плановую экономику и государственную собственность. Порой он это говорил совсем безотносительно к обсуждаемому конкретному вопросу.

Кузнец был вдвое старше меня и уже тогда весьма известен как ученый, так что я немного робел, чувствуя свою неготовность вести с ним серьезную научную беседу. Не могу похвастать, что обсуждал со светилом деловые циклы, распределение личных доходов или статистику национального продукта и дохода — области науки, связанные с именем Кузнеца.

Меня стесняло и то, что Кузнец — эмигрант из России, хотя и первой волны. До недавнего времени считалось в принципе нежелательным иметь дело с эмигрантами: уж лучше заядлый реакционер, но природный американец или француз, чем любой либерал, но бывший соотечественник. Это прочно сидело в голове каждого советского человека, выезжавшего за границу.

Кроме того, я был членом делегации, в которой двое старших коллег не знали ни слова по-английски и не то с подозрением, не то с ревностью смотрели, как я болтаю с иностранцами. Четвертый был переводчик и, как мне ста-

ло ясно позже, агент спецслужб. Об этом я догадался, когда через несколько недель после возвращения меня вызвал один из боссов ведомства, где я работал (Госкомитет по экономическим связям), и сказал: "Есть сведения, что вы неправильно вели себя за границей — отделялись от делегации и излишне интересовались женщинами". Говоря словами Владимира Высоцкого, смешно, да не до смеха. Обидно ведь и то, что, кроме разговоров на приемах и экскурсиях, решительно ничего с женщинами не было!

К счастью, время было "оттепельное", в преддверии XX съезда партии, на котором Никита Хрущев "похоронил" Сталина в знаменитом секретном докладе. Дело было, видимо, оставлено без последствий.

Возможны ли такие вещи теперь? Не знаю. В такой грубой и глупой форме, вероятно, нет. Но не поручусь, что эти нравы остались целиком в прошлом.

Однако вернусь к Саймону Кузнецу. Мы все же настолько подружились с ним, что четыре года спустя он прислал мне предварительный вариант своей книги "Капитал в американской экономике. Его формирование и финансирование" — классической работы в тогдашнем стиле Национального бюро экономических исследований. Книга вышла в 1961 г, и я вместе с С.М. Никитиным рецензировал ее в советском журнале.

Кузнец был сподвижником и продолжателем трудов Уэсли Митчелла, основателя бюро и одного из пионеров количественного, статистико-аналитического метода экономических исследований. Ни Митчелл, ни Кузнец не были и не стремились быть идеологами. Возможно, это их большое преимущество...

Национальное бюро экономических исследований — это своеобразная, можно сказать, уникальная организация, которая внесла немалый вклад в развитие американской экономической науки. За 70 лет под ее "шапкой", иметь которую считается почетным, изданы тысячи научных работ, проведены сотни конференций и симпозиумов. В 1985 г. я посетил ее штаб-квартиру в Кембридже, штат Массачусетс. Это город науки, где находятся Гарвардский университет, Массачусетсский технологический институт и еще какие-то учебные заведения и исследовательские центры. Признаюсь, я ожидал увидеть круп-

ное учреждение с обширным штатом. К некоторому моему удивлению, оказалось, что все Национальное бюро помещается в нескольких комнатах вокруг заполненного массой книг кабинета бессменного (кажется, теперь уже лет двадцать) президента и главного исполнительного директора бюро профессора Мартина Фелдстайна. Кстати сказать, он сам автор многих заметных работ, а вовсе не только бюрократ-администратор. Сотрудники бюро, авторы издаваемых им трудов, рассеяны по университетам в разных концах страны.

По причине недостатка информаций и, сознаюсь, моей собственной ограниченности я в момент встречи с Кузнецом в 1955 г. вовсе не знал о его опубликованных незадолго до этого работах по распределению личных доходов в США. Этой проблемой он продолжал заниматься и в последующие годы.

Проблема распределения доходов приобрела острейший характер и в России в нынешней сложной обстановке. В последние годы произошла чудовищная поляризация дохода и богатства. С одной стороны, сложился и процветает слой "новых русских", предпринимателей и чиновников, разбогатевших разными, нередко нечестными и прямо преступными, способами. С другой — не то 30, не то 40% населения живут за официальной границей нищеты. Первые ездят на "мерседесах" и покупают виллы на Кипре, вторые буквально голодают и ходят в обносках.

Едва ли надо доказывать гибельность этой тенденции. Богачи уклоняются от налогов и от инвестирования своих доходов в отечественную экономику, а бедняки, к тому же дважды и трижды ограбленные инфляцией, денежными реформами и жульничеством финансовых магнатов, думают лишь о том, чтобы как-то прокормить семью. Не складывается тот самый средний класс, трудолюбивый и бережливый, политически умеренный и морально здоровый, который только и может стать становым хребтом процветающего общества.

В своих работах 50-х годов Кузнец на обширном и умело обработанном материале показал, что в США действует длительная (хотя и не слишком явная) тенденция усреднения доходов и богатства, известного уменьшения крайностей богатства и бедности. В дальнейшем Кузнец

обнаружил схожую тенденцию в наиболее успешно развивающихся новых странах, особенно в Тайване.

Он высказал предположение, которому экономисты присвоили громкое имя "закона Кузнеца": в первые десять лет интенсивного экономического роста для развивающейся страны обычно характерно увеличение неравенства доходов и богатства, после этого начинается процесс уменьшения неравенства.

Какие выводы следуют из этого "закона" для нас? Мне думается, очень невеселые. В России огромный рост неравенства происходит пока отнюдь не в условиях экономического подъема, а в условиях кризиса и упадка. Если Кузнец прав (а есть серьезные основания так думать), то даже после начала роста (а когда он начнется?) нам предстоит еще десятилетие дальнейшей поляризации дохода и богатства. Выдержит ли это наше общество? Не приобретет ли новую силу пресловутый лозунг "Грабь награбленное"?

Труды Кузнеца по проблеме распределения доходов и богатства породили в свое время волну критики. Особую ярость они вызывали у марксистов: Кузнец своими огромными таблицами и хитрыми процентами, доказывавшими тенденцию к уравнению доходов, покушался на главный опорный столб марксизма — всеобщий закон капиталистического накопления. Этот закон утверждает, что при капитализме происходит накопление богатства на одном полюсе, бедности — на другом. Даже среди коллег, западных экономистов, реакция была весьма неоднозначной. Вероятно, совершенствование статистики и методов ее обработки позволит подвергнуть обнаруженные Кузнецом закономерности тщательной проверке и новому анализу. Но уже никто не сможет писать на эту тему, не принимая во внимание труды моего скромного и все же блестящего бангкокского собеседника.

Хотя Кузнец прожил после 1955 г. много лет, мне не пришлось больше лично встречаться с ним. Насколько я знаю, он в СССР не приезжал, а мои американские маршруты как-то проходили мимо.

По молодости лет и недомыслию я почти не сделал вовремя записей о беседах с Кузнецом. В памяти остались какие-то частности, которые потом переплелись с известными из литературы подробностями его жизненного пути.

Саймон Смит Кузнец родился в белорусском городе Пинске. Надо полагать, его звали тогда Сеней или Сёмой. Он учился в гимназии и один или два года в Харьковском университете, а также какое-то время служил в местных советских статистических органах.

Семья намеревалась эмигрировать в Америку еще из старой России. Незадолго до войны 1914 г. отец уехал туда, надеясь вскоре вызвать семью. Мировая война, революция и гражданская война помешали этому, и только в 1922 г. Сеня (Сёма?) попал в США. Дни и ночи лихорадочно овладевая английским языком, он в том же году сумел поступить в Колумбийский университет в Нью-Йорке. Там же он быстро получил магистерскую и докторскую степени.

Чего нет в справочниках, но что я совершенно точно помню из нашего разговора, это лишения, которые выпали на долю нищего студента. Речь шла о том, что у него была всего одна приличная сорочка, которую он сам стирал.

Однокурсником Кузнеца в Колумбийском университете был мой старший друг Владимир Дмитриевич Казакевич, человек по-своему замечательный, хотя и совсем не знаменитый. Увезенный из России подростком сначала в Маньчжурию, а потом в Америку, он прожил там около тридцати лет. Отнюдь не будучи коммунистом, он в годы войны, как многие эмигранты, стал страстным русским патриотом, выступал на бесчисленных митингах в защиту СССР и собирал деньги для Красной Армии. Верность своему старому отечеству он сохранял и в резко изменившейся послевоенной обстановке. В годы маккартизма над ним стали сгущаться тучи, и он попросился в Советский Союз. По ходатайству советского посольства в Вашингтоне, где Казакевич был на хорошем счету, он в 1948 г. получил разрешение Москвы и с американской женой прибыл в Пермь (тогда Молотов), где стал преподавать политэкономию в университете. Им повезло, когда они получили разрешение жить в Москве и двухкомнатную квартиру на Новопесчаной улице. В середине 50-х мы познакомились с Казакевичем и оставались друзьями до его смерти в 1982 г.

Казакевич хорошо помнил своего знаменитого земляка (если можно так выразиться), и мы несколько раз гово-

рили о нем. Речь шла и о трудной проблеме возвращения. Казакевич сказал: "Едва ли такой вопрос когда-нибудь всерьез вставал перед Кузнецом: он был безмерно увлечен своей работой, уже к концу 20-х годов занял в науке прочное положение, а в 40-х годах был виднейшим ученым и стопроцентным американцем". Я спросил Казакевича: "Может быть, Кузнец к тому же знал о ГУЛАГе и прочих ужасах сталинского режима?" Казакевич задумался и сказал: "Странное дело, но мы в Америке мало знали об этом и еще меньше верили тому, что попадало в средства массовой информации". Странно, но факт.

В науке Кузнец был наследником и продолжателем великой традиции эмпирического и статистического анализа экономических процессов. Более трехсот лет назад англичанин Уильям Петти писал, что надо ввести в анализ "число, вес и меру" вместо того, чтобы "употреблять только слова в сравнительной и превосходной степени и прибегать к умозрительным аргументам". У Кузнеца в его рассуждениях о методологии экономической науки можно найти схожие мысли, только на современном языке. Труды Кузнеца и ученых его круга стали эмпирическим базисом макроэкономики, теоретические принципы которой связаны в первую очередь с именем Кейнса.

Без национального счетоводства (системы национальных счетов), созданного в 30—40-х годах трудами ряда ученых и практиков, были бы невозможны эконометрические модели, была бы, по существу, невозможна и макроэкономическая политика современного государства. Среди них первым должно быть названо имя Саймона Кузнеца.

Исчисление и анализ национального продукта и национального дохода, потребления и накопления (капиталовложений) стали теперь обычным делом статистиков и экономистов. Не забудем, что 60—70 лет назад наука практически не располагала этими материалами и средствами анализа. Теперь без них невозможны экономические сравнения между странами, а без таких сравнений трудно говорить об интеграции.

Кузнец одним из первых получил Нобелевскую премию по экономике (1971 г.). Едва ли и теперь кто-нибудь из лауреатов может сравниться с ним по практическому и

политическому значению исследований. Весь мир принял систему национальных счетов, которая позволяет с достаточной степенью надежности измерять экономический рост и анализировать структурные сдвиги. Хотя в последние годы данные о валовом национальном продукте начали публиковать в СССР и России, нашим статистикам еще долго придется учиться современным методам составления и анализа национальных счетов.

Вероятно, я не сразу понял, что встреча с Саймоном Кузнецом в далеком 1955 г. сыграла некоторую роль в моей жизни. Кузнец по-своему повлиял на меня, укрепив мой интерес к экономической теории и подтолкнув к переходу в академическую науку. Слушая его и беседуя с ним, хотелось стать профессором. Профессором в лучшем смысле слова — интеллектуальным, независимым, широко мыслящим, либеральным...

Реймонд У. Голдсмит *(1904—1988)*

Голдсмит популярен среди советских и российских экономистов. Его книга о национальном богатстве США вышла в русском переводе. Огромный, оригинально обработанный статистический материал его исследований часто использовался советскими учеными. Надеюсь, я в какой-то мере способствовал этому своей статьей, опубликованной в 1960 г., когда о нем еще мало знали в СССР.

Мое знакомство с Голдсмитом было сначала заочным, и к 1964 г., когда он приехал в Москву, я был хорошо подготовлен к беседам с ним. В течение нескольких дней мы с ним расставались только на ночь. Я устраивал его беседы в ИМЭМО и сопровождал при визитах в некоторые другие учреждения.

Общение с иностранными учеными стало к этому времени довольно обычным делом, хотя и находилось под строгим контролем "компетентных органов". Самой неформальной и по-человечески приятной была встреча с Голдсмитом, устроенная на квартире экономического со-

ветника американского посольства. Была хорошая закуска à la fourchette и достаточная выпивка, после чего языки развязались и отношения упростились. Помню, один мой коллега, чуть ли не держа профессора за лацкан пиджака, говорил ему: "Вы же один сделали столько, сколько у нас не сделал бы целый институт". Надо сказать, что это уже тогда не было ни лестью, ни преувеличением, а ведь были еще труды Голдсмита следующей четверти века!

Кратко формулируя свои научные достижения, сам Голдсмит выделил три пункта: статистическое исследование функции сбережения; оценка национального богатства методом непрерывной инвентаризации; введение серии коэффициентов, характеризующих финансовое развитие страны. Все эти нововведения оказались плодотворными и используются теперь в теории и статистике. Впрочем, специалисты могли бы добавить к этому еще десяток пунктов.

Своими работами Голдсмит внес большой вклад в исследование длительных тенденций развития экономики США, в объяснение того сложного процесса, который сделал эту страну промышленным и финансовым гигантом. Позже он попытался подвергнуть такому анализу экономический рост Японии, но эта его работа осталась, мне кажется, почти незамеченной.

Голдсмит как бы дополнял Кузнеца, с которым работал с тесном контакте. Кузнец больше занимался "реальным" сектором экономики, Голдсмит — финансовым. В последние годы российские экономисты стали вновь обращаться к его трудам, поскольку теперь признано, что эффективная рыночная экономика не может вырасти без полноценной системы финансовых посредников, рынков и инструментов.

В недавнее время мы на своей шкуре (точнее сказать, на шкурах доверчивых сберегателей) узнали, как важны финансовые посредники и как они опасны. Банки, финансовые, инвестиционные и страховые компании, пенсионные и другие фонды разными методами собирают деньги миллионов людей и инвестируют их в производство, строительство, торговлю. Значение этой общественной функции трудно переоценить. Степень развития этих институтов является важным критерием экономической

зрелости страны. И наоборот, если они ненадежны, нестабильны и, хуже того, контролируются мошенниками, это может обернуться большой бедой для страны. Что у нас и произошло в 1994—1995 гг.

Другие ученые развивали теорию финансовых посредников, стремясь увязать ее с более общими научными основами. Голдсмит подобно Кузнецу к этому особенно не стремился. Но он создал в ряде своих работ огромный статистический портрет финансовых институтов, откуда многое стало ясно и в том, какую роль они играют в экономическом развитии.

Голдсмит полагал, что существуют общие законы формирования и роста финансовых структур. Измерив их основные параметры и исчислив предложенные им коэффициенты, мы можем судить об уровне развития страны, сравнивать ее с другими странами, оценивать перспективы. Человек очень увлекающийся, он преувеличивал значение своих коэффициентов и сравнений. Но это не умаляет полезность и плодотворность разработанных им методов анализа.

Поскольку моя докторская диссертация была посвящена кредитной системе США, я пристально изучал его труды о процессах сбережения (накопления денежного капитала) и о финансовых институтах, аккумулирующих, преобразующих и инвестирующих этот капитал. Голдсмит был для меня настолько важен, что "для уяснения вопроса самому себе" я написал 100-страничный реферат его книг 50-х годов. Он был для меня образцом научной добросовестности, и я старался хоть немного "соответствовать" ему.

По внешности Голдсмит составлял контраст Кузнецу: это был рослый, экспансивный, очень энергичный человек. Помню, весной 1964 г. я зашел за ним в отель в Москве, чтобы отвезти его в наш институт, и он категорически отказался ехать на такси, сказав, что хочет почувствовать себя рядовым москвичом. Так мы и добирались: троллейбусом и пешком. С таким же любопытством он пообедал в более чем скромной столовой ИМЭМО, успевая при этом живо беседовать с несколькими нашими сотрудниками и отбиваться от патентованных чудаков, которые, вероятно, имеются в каждом учреждении. Казалось, все это достав-

ляло ему удовольствие, хотя на самом деле было довольно утомительно.

Голдсмиту было 60 лет, но выглядел он гораздо моложе и держался совсем молодцом, не чураясь некоторого панибратства. По-моему, он очень нравился людям.

В любой беседе Голдсмит немедленно захватывал лидерство, заставляя всех остальных слушать его и отвечать на его четкие и резкие вопросы. В Москве он пытался разобраться в советской финансовой статистике, но, кажется, мало преуспел в этом.

Как и Кузнец, Голдсмит был в США иммигрантом, только не из России, а из Германии. Советский большевизм и германский нацизм соединили силы, чтобы отправить в Америку не только талантливых физиков и математиков, но и экономистов... Эмигрировал он довольно поздно, кажется, уже после прихода Гитлера к власти. К этому времени он имел докторскую степень Берлинского университета и научные публикации. Как и многим эмигрантам, ему пришлось нелегко в первое время. Но в годы рузвельтовского "Нового курса" в государственном аппарате возник спрос на экономистов с широким кругозором, и Голдсмит оказался очень кстати. Несколько лет он работал во вновь созданной Комиссии по ценным бумагам и биржам, где накопил богатый опыт. После войны его научная деятельность была тесно связана с Национальным бюро экономических исследований.

Когда листаешь тысячи мастерски составленных им таблиц, берет оторопь: действительно, как мог один человек, пусть порой с помощниками, осилить это? Тем более что компьютеров в 40-х и даже 50-х годах практически еще не было. Поистине это был труженик из тружеников. Хотя в Америке быть профессором экономики вообще нелегко, если ты не имеешь, по словам одного американца, "выносливости верблюда и терпения святого", трудолюбие этого человека приходится особо подчеркнуть. Хорошо, что это трудолюбие сочеталось с талантом.

По совету Голдсмита я послал мою вышедшую через несколько месяцев после его московского визита книгу о кредитной системе в журнал "Джорнэл оф файненс", весьма солидный и вполне академический. Полагаю, Голдсмит там кому-то что-то сказал, а может быть, обошлось

без этого. Во всяком случае, в последнем квартальном номере за 1965 г. появилась рецензия, подписанная неизвестным мне именем. Автор рецензии сожалел о том же, о чем теперь сожалею я: "доказательствах" с помощью цитат из Маркса и Ленина, преувеличении господства монополий и т.п. Но, добросовестно пересказав содержание, все же приходил к любопытному выводу: "Во многих отношениях это научный труд в рамках западной традиции... Во всяком случае, книга указывает на степень понимания, на которую мы не могли рассчитывать десятилетием раньше..."

Через несколько лет я разыскал автора рецензии, познакомился и даже подружился с ним. Он оказался по происхождению латышом из Риги и один год учился в советском вузе. Поэтому он и знал русский язык. Война каким-то сложным путем закинула его в Западную Германию, откуда он перебрался в Америку. Рассказал мне, что первое время страшно бедствовал, работал мойщиком стекол и еще кем-то, с трудом получил высшее образование, а потом и профессуру. Не смог даже жениться и доживал жизнь старым и небогатым (по американским стандартам) холостяком.

По поводу выхода моей книги и этой рецензии мы обменялись с Голдсмитом несколькими короткими деловыми письмами, потом переписка прервалась. Вновь мы встретились в 1980 г.

В хмурый ноябрьский день я поехал из Нью-Йорка поездом в Нью-Хейвен повидать Голдсмита, который был в это время профессором эмеритус (есть такое почетное звание для пенсионеров) в Йельском университете. Молодая леди из Айрекса (International Research and Exchanges Board), опекающего советских ученых в США, посоветовала мне взять такси, чтобы доехать от станции до университета. Подобно Голдсмиту я отказался от такси и пошел пешком, узнав из городского плана, что расстояние — не более мили. Скоро я понял, что она имела в виду: я шел мрачной и безлюдной индустриальной пустыней, а редкие прохожие вызывали не столько облегчение, сколько страх.

Как бы то ни было, я благополучно добрался до здания экономического факультета, который размещался в какой-то старой вилле, купленной в свое время университе-

том. Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице, я оказался на "голубятне" и открыл дверь в небольшую комнату с низким потолком. Вероятно, при старых хозяевах это была комната прислуги. На полках и на полу громоздились горы книг и бумаг, а у низкого окна за столом сидел сильно постаревший эмеритус. Он писал в это время очередную книгу о сравнительных финансовых структурах и компоновал свои необъятные таблицы.

Как мне сказали, Голдсмит незадолго до этого овдовел, и казалось, что следы одиночества и небрежения видны на его лице и в одежде. Впрочем, возможно, это было только частью впечатления от его пыльного, с мертвой тишиной, убежища.

Здесь он был верен своим демократическим привычкам, обнаружившимся в Москве: обедать мы пошли в общую студенческую столовую и, постояв минут десять в очереди, набрали себе из открытого доступа скромной, но вполне съедобной пищи доллара примерно на три на каждого.

Из многочасового разговора я понял, что, как Голдсмит ни постарел, он остался полон жизни, замыслов и ... желчи. Когда я упомянул кого-то из видных экономистов, Голдсмит вдруг принялся его язвительно поносить. После этого я остерегался называть имена.

Зашел разговор о том, какие учреждения я посетил. Когда выяснилось, что у меня не нашлось времени побывать в одном исследовательском центре, Голдсмит стал резко ругать меня. Это можно было, пожалуй, принять за грубость, если бы я не знал его двадцать лет. Поэтому я только усмехнулся про себя, пообещав исправить ошибку (впрочем, в тот раз так и не успел), и перевел разговор на другую тему.

Думаю, желчность Голдсмита проистекала не только из его характера, возраста и личных обстоятельств. Профессура была склонна недооценивать его труды и заслуги. Это я замечал в разговорах с некоторыми учеными. Он был действительно одержим статистикой, верил в абсолютную доказательность цифры, мало интересовался чистой теорией, не знал и не применял серьезную математику. Все это делало его уязвимым для критики и иронии. Едва ли он заслужил это.

Неукротимая страсть исследователя, "копателя" одолевала этого человека до конца дней, когда ему было под 80 и за 80. Этому можно, пожалуй, позавидовать. Из литературы я узнал, что уже после нашей встречи Голдсмит опубликовал работы, в которых пытался применить свои методы к ... Древнему Риму, оценивая размеры национального продукта две тысячи лет назад, и к XVIII в., составляя для нескольких стран национальные балансы в ретроспективе. Возможно, историки скажут о нем доброе слово.

Рой Ф. Харрод
(1900—1978)

В 60-х годах среди западных экономистов стало модным ездить в Москву. Слух о том, что появилось и укрепилось новое поколение советских экономистов, не столь догматично марксистских, как ранее, прошел по университетам и научным центрам.

В 1965 г. приехал Рой Харрод, уже немолодой и очень знаменитый, особенно тем, что, фигурально выражаясь, Кейнс на смертном одре вручил ему полномочия своего главного истолкователя и продолжателя. К 1965 г. Харрод был автором монументальной биографии Кейнса, новаторской работы в области экономической динамики (теории роста) и многих других заметных сочинений.

В XX в. в доброй старой Англии с ее вековыми традициями крупным ученым стали давать дворянские титулы. Кейнс сделался бароном и тем самым получил право именоваться лордом. Харрод удостоился титула ступенькой ниже: был в 1959 г. возведен в рыцарское достоинство и добавил к своему имени слово "сэр". Его стали именовать сэр Рой Харрод, в не самых официальных случаях — просто сэр Рой (но ни в коем случае не "сэр Харрод", такова уж традиция!). Не знаю, как сам Харрод относился к своему титулу, но полагаю, что с некоторым юмором. Впрочем, он ощущал себя человеком элиты и даже выступал в печати с обоснованием и защитой привилегий британско-

го высшего класса. Едва ли о Харроде можно сказать, что он был демократ.

Приезд Харрода был косвенно связан с тем, что в Москве несколькими годами ранее была издана его книга "К теории экономической динамики".

Во второй половине 50-х годов группа энтузиастов организовала и, что важнее, "пробила" через этажи цензуры издание в русском переводе серии трудов наиболее значительных западных экономистов. Среди них была книга Харрода, в которой ставилась задача разработать стратегию экономического роста, исключающую характерную для 30-х годов депрессию и стагнацию.

Харрод был доволен, что его издали в Москве, и прямо мне об этом говорил. Вероятно, для западных экономистов, даже для светил, это было каким-то особенным отличием: одно дело — почетные степени от крупных университетов на Западе, совсем другое, и очень пикантное, — признание у коммунистов. Харрод привез с собой (или прислал сразу после отъезда, не помню точно) другую свою книгу — о реформе международной валютной системы. Я хлопотал в издательствах о ее переводе и издании, но безуспешно. Пришлось ограничиться рецензией на эту интересную и сравнительно общедоступную книгу.

Издаваемые в СССР книги западных экономистов снабжались предисловиями, одно из назначений которых состояло в том, чтобы "нейтрализовать" влияние автора на советского читателя. Эти предисловия писались по определенному рецепту, который дозировал анализ и критику. В предисловии к "Экономической динамике" Харрод был назван твердолобым консерватором. Но кто-то устно перевел это место Харроду, не знавшему русского языка, не правильным английским эквивалентом diehard, а возможным вариантом: tough-headed, tough-sculled. Вместо *принципиального* консерватора (кстати, Харрод до войны был активным либералом) он был назван *тупым* (тупоголовым) консерватором.

Когда в 1965 г. Харрод приехал в Москву, первое, что я услышал от него на встрече с советскими учеными, был шутливый, но и обиженный вопрос: я не отрицаю, что я теперь консерватор, но почему тупой? Не помню, кто и

как отвечал ему. Может быть, никто и никак. Этот эпизод произошел во время встречи Харрода с ведущими сотрудниками ИМЭМО. В остальном все прошло гладко и к взаимному удовлетворению, с чаем и светской беседой. В ИМЭМО существует такой ритуал: председательствующий (обычно директор или один из его заместителей) рассказывает гостю об истории, задачах и структуре института. Как ни кратко, это занимает довольно много времени. У совершенно неподготовленного иностранца возникают обычно вопросы, на которые надо отвечать. После этого на содержательную беседу нередко остается мало времени.

Полагаю, Харрод решил взять своего рода реванш, согласившись прочитать серьезную лекцию в Московском университете.

Иностранцы склонны думать, что Московский университет — это русский Гарвард или Оксфорд, и стремятся побывать там, встретиться с профессорами и студентами. Мне трудно судить о естественных науках (хотя я знаю, что мои друзья — физики и биологи — скептически восприняли бы такое утверждение). Но общественные науки в Московском университете пришли за сталинские и постсталинские десятиления в полный упадок, стали жертвой догматического марксизма, гонения на всякое инакомыслие, всеобщего конформизма. Отрыв советской экономической науки от мировой достиг на экономическом факультете университета крайних размеров и сохраняется до сих пор.

Аудитория, собравшаяся на лекцию Харрода в старом, классической архитектуры здании университета напротив Кремля (с тех пор экономический факультет дважды переезжал в новые здания), была совершенно не готова к теме и языку лекции. Когда переводчик безнадежно запутался в формулах и условиях роста и публика стала терять терпение, я попробовал взять на себя его обязанности. Совместными с лектором усилиями нам удалось довести дело до более или менее благополучного конца. Харрод ничего не сказал мне, но боюсь, что для него это было не самое приятное испытание.

Уже добрых сорок лет в трудах экономистов, учебниках и справочниках принято писать о "модели роста Хар-

рода—Домара". Евсей Домар (еще один американский экономист родом из России) пришел к своей модели независимо от Харрода и опубликовал ее несколько позже и в иной форме. Примечательно, что сам Домар признал своим (а получается, и Харрода) предшественником безвестного советского экономиста-плановика 20-х годов Григория Фельдмана. Зная русский язык, Домар раскопал его статьи в старых советских журналах и дал ему мировое имя. Не могу судить, насколько это справедливо. Но, во всяком случае, приходится повторить печальную истину: ни одна страна не была так беспечна и безжалостна по отношению к своим талантам, как Россия.

Надо сказать, что весьма значительным предшественником Харрода и Домара был ... Маркс. Все изучавшие политическую экономию помнят довольно загадочные числовые примеры и формулы, которыми Маркс стремился выявить условия нормального хода простого и расширенного воспроизводства. Теперь это, видимо, назвали бы условиями статического и динамического равновесия. Маркс, несомненно, обладал громадной интуицией экономиста-теоретика и своими набросками схем воспроизводства, вошедшими во второй том "Капитала", доказал это. Другое дело, что для мировой науки эти разработки остались скорее любопытным курьезом, чем подлинными прорывами.

Харрод, естественно, отталкивался в своей модели не от Маркса, а от Кейнса, который в переписке с ним обсуждал теоретические проблемы примерно так, как Рикардо с Мальтусом, а Маркс с Энгельсом. Вопрос ставился следующим образом: при каких условиях экономика может длительное время развиваться в обстановке полной занятости? Харрод ввел фундаментальное понятие, которое в русском переводе лучше всего назвать равновесным темпом роста (warranted rate of growth). В концепции Харрода эта величина зависит, с одной стороны, от двух переменных: нормы накопления (сберегаемой доли национального дохода) и предельной капиталоемкости (капиталовложений, необходимых для увеличения дохода на единицу). Но, с другой стороны, темп роста физически определяется приростом рабочей силы и производительности труда. Лишь при грубом равенстве этих двух величин будет рост

при полной занятости. Этот узкий коридор оптимальности иногда образно называют "лезвием Харрода". Поскольку вероятность, что экономика стихийно найдет этот коридор, не очень велика, необходимо постоянное регулирование средствами государственной политики.

Надеюсь, это предельно упрощенное и сокращенное изложение достаточно корректно. Важно, что работы Харрода (и Домара) дали толчок теории роста и получили развитие во многих моделях, возможно, более полных и реалистичных. Есть основания считать, что они способствовали лучшему пониманию сложных экономических процессов.

Харрод не получил Нобелевской премии. Некоторые считают — не успел. Так сказал весьма компетентный человек — председатель комитета по премиям в области экономики шведский профессор Ассар Линдбек.

Не знаю, хотел ли Харрод этого и страдал ли в последние годы жизни. Люди относятся к таким вещам по-разному. Одни, вероятно, самые мудрые, сохраняют подлинное равнодушие. Другие умело скрывают свой интерес под личиной равнодушия. Но есть и третьи, которые не могут или не хотят скрывать свое желание, иногда страстное и прямо патологическое. Так рассказывали мне американские друзья об Аббе Лернере, очень крупном ученом-экономисте, который, кстати, тоже родился на территории Российской империи, в Лодзи.

Начиная с 1964—1965 гг. я увлекся историей экономической мысли, особенно Адамом Смитом, чей облик как человека и ученого был всегда мне близок. В 1968 г. в серии "Жизнь замечательных людей" вышла моя биографическая книга о Смите.

В связи с этим я сделал в 1973 г. попытку поехать на международный симпозиум, посвященный 250-летию со дня рождения Смита. Рой Харрод возглавлял подготовительный комитет и пригласил меня на симпозиум, который должен был пройти в родном городе шотландского мудреца — Керколди. Однако советские бюрократы и секретные службы решили, что ехать мне туда не следует (причем за несколько дней до отъезда), поставив меня в весьма неловкое положение перед организаторами конференции во главе с сэром Роем.

В опубликованной стенограмме симпозиума Харрод говорит, что "весьма типичным образом" отказ русского участника выяснился очень поздно, а обращение в Академию наук с просьбой заменить его кем-либо осталось без ответа.

Многие советские ученые могли бы рассказать о подобных неприятностях. Говорят, был такой анекдотичный случай. Двое молодых ученых получили приглашение на какую-то конференцию по проблеме, в которой они были специалистами и имели работы. Сомневаясь, что Академия наук пошлет, а КГБ и ЦК пропустят их одних (как людей непроверенных), они попросили организаторов конференции прислать приглашение также директору института и секретарю партийного комитета, хотя те были далеки от этой проблемы. Накануне предполагаемого отъезда выяснилось, что эти два начальника поедут, а молодых ученых "зарубили".

После эпизода с симпозиумом в Шотландии, успешно прошедшим без меня, наши отношения с Харродом расстроились, а через несколько лет он умер.

Сэр Рой Харрод был джентльмен. Не только внешне — характерный тип пожилого английского джентльмена с несколько старомодными манерами, но и по своему духовному и культурному облику. В Москве, среди людей, чуждых ему по взглядам и поведению, он сохранял неизменный такт и юмор. Сейчас я перечитал стенограмму симпозиума в Керколди, где он председательствовал, и по репликам живо представил себе его. Если бы я был там, наверное, мог бы рассказать теперь что-нибудь интересное: ведь на симпозиуме выступали с докладами профессор Гэлбрейт, председатель Федеральной резервной системы США Артур Ф. Бернс и другие известные люди.

Человеческая жизнь имеет много определений. Одно из них: жизнь есть цепь потерь и упущенных возможностей...

Недавно Рой Харрод вспомнился мне совсем в другой связи. В 1992 г. мне пришлось встретиться с бывшим британским премьер-министром консерватором Эдвардом Хитом, одним их предшественников Маргарет Тэтчер на этом посту. Богатая международная организация, объединяющая институциональных инвесторов (пенсионные

фонды, страховые компании, трастовые учреждения), пригласила Хита рассказать о проблемах будущего Европейского союза, а меня — о том, что делается в бывшем Советском Союзе. Многими чертами этот незаурядный англичанин напомнил мне Харрода. Хиту было более 75 лет, но, занимаясь в отставке экономикой и политикой, он еще увлекался парусными яхтами и дирижировал оркестрами.

Английские старики чем-то отличаются от американских, не говоря уже о российских. Вспоминается анекдот. Иностранец спрашивает владельца загородного английского дома: "В чем секрет прекрасного состояния вашего газона?" Тот отвечает: "Никакого секрета нет. Надо только двести лет регулярно подстригать и поливать его".

Дж. Кеннет Гэлбрейт (*р. 1908*)

В 1896 г. англичанин Инглис Палгрейв издал под своей редакцией трехтомный "Словарь политической экономии" — прекрасную энциклопедию, вобравшую в себя все самые передовые экономические знания, какими они были сто лет назад. С тех пор другие люди, сохраняя на титульном листе почтенное имя Палгрейва, несколько раз обновляли и переиздавали словарь. Издание 1988 г. содержит написанную Лестером Туроу короткую статью о Гэлбрейте — поразительную по точности и емкости характеристику маститого мыслителя. Автор говорит: "Дж. К. Гэлбрейт представляет собой парадокс... На протяжении его выдающейся карьеры экономическая наука двигалась в направлении все более формальных моделей, предполагающих математическое выражение, и проявляла все меньше интереса к старомодной политической экономии, в то время как Гэлбрейт ни на йоту не сдвинулся в какую-либо сторону... В итоге мы имеем экономиста вне главного потока экономической мысли, но в гуще экономических событий".

Гэлбрейт — автор более чем двух десятков книг, из которых четыре или пять были бестселлерами и изданы на многих языках в миллионах экземпляров. Он может с известным основанием претендовать на титул властителя дум послевоенных поколений, насколько такой титул применим к экономисту. Я бы сказал, что к Гэлбрейту более, чем к кому-либо из больших ученых, применимо высокое и специфически русское слово "интеллигент". Это означает: человек в лучшем смысле слова либеральный, сознающий свою общественную ответственность, критичный к властям, к бюрократии, к милитаризму.

Со времени московского издания "Нового индустриального общества" (1969 г.) Гэлбрейт, безусловно, самый читаемый у нас американский экономист. После этого советские издательства выпустили еще три его книги. Кажется, ни один западный ученый с ним в этом отношении сравниться не может.

Конечно, Гэлбрейта издают потому, что читатели охотно покупают его книги. Он имеет заслуженную репутацию лучшего писателя среди экономистов и лучшего экономиста среди писателей. Но в СССР это было далеко не самое главное. Главным было отношение советского истеблишмента, партийного идеологического руководства к автору и книге.

Американский либерал Гэлбрейт устраивал советский истеблишмент как критик западного образа жизни и капитализма США. То, что он талантливый критик, увеличивало его ценность.

Было в советском политическом жаргоне такое выражение для определенного типа западных интеллигентов: "друг Советского Союза". Профессор Гэлбрейт был, по меньшей мере, близок к тому, чтобы быть зачисленным в эту категорию.

Впрочем, дело обстояло совсем не так просто. Вокруг издания "Нового индустриального общества" и книги "Экономические теории и цели общества" (русское издание — 1976 г.) шла борьба, и, насколько мне известно, потребовался весь авторитет директора ИМЭМО Николая Николаевича Иноземцева, чтобы преодолеть сопротивление советских консерваторов, соратников тогдашнего главного идеолога Суслова. Они-то никогда не были в

восторге от Гэлбрейта: хоть критик, но твердый сторонник капитализма и отнюдь не воспеватель советского "реального социализма".

Сторонники издания книг Гэлбрейта понесли потери: обе книги вышли с двусмысленным грифом "Для научных библиотек", что означало ограниченный тираж и отсутствие их в свободной продаже. Правда, я имею эти тома, хоть и не являюсь научной библиотекой. Каждый год я давал их взаймы одному из своих студентов в Московском университете, и он готовил для семинара доклад об идеях Гэлбрейта. Обычно это был лучший студент, и дискуссия иногда получалась очень живая.

Гэлбрейт — человек, который знает толк в юморе. Он — автор уникальной книги "Экономика и смех". По-русски она, наверное, могла бы называться "Экономисты шутят" по аналогии с популярной в свое время в СССР книжкой "Физики шутят". Несколько его кратких деловых писем, хранящихся в моем архиве, неизменно содержат иронические замечания. В полемике, которую Гэлбрейт ведет практически во всех своих работах и выступлениях, юмор, порой достаточно едкий, служит ему важным подспорьем.

Не уверен, помнит ли Гэлбрейт такой эпизод. Лет двадцать назад, будучи очередной раз в Москве, он читал лекцию в Институте США и Канады. Последовали вопросы. Встал один немолодой коллега (немного старше лектора) и на очень плохом английском языке спросил: "Профессор Гэлбрейт, к какому направлению буржуазной политэкономии вы себя сами относите?"

Никогда ни до, ни после этого я не видел, чтобы Гэлбрейт, выступая публично, показал хоть признаки растерянности. Но этот странный вопрос застал его врасплох, и он несколько секунд собирался с мыслями. Тогда Георгий Аркадьевич Арбатов, директор института, который представлял аудитории американца, сказал, широко улыбаясь: "Ну, я думаю, профессор Гэлбрейт сам составляет целое направление". Все засмеялись, и вопрос был исчерпан.

Действительно, к какому направлению относится Гэлбрейт? Наверное, к еретическому. Всегда против официальной, традиционной, конформистской позиции. В этом, пожалуй, и есть его главное достоинство.

Если же всерьез обратиться к нашей более или менее сложившейся классификации, то Гэлбрейта обычно зачисляют по социально-институциональному ведомству. Трудно выговорить и еще труднее истолковать, так что я воздержался бы от этого скучного определения.

Гэлбрейт — упорный и изобретательный критик американского милитаризма и военно-промышленного комплекса. Это позволяет мне еще раз вспомнить Арбатова. В 1989—1991 гг. он выступал как Давид либеральной интеллигенции, схватившийся с Голиафом советского военно-промышленного комплекса. Всеобщее внимание привлекла публичная полемика Арбатова с ныне покойным маршалом Ахромеевым и несколькими другими генералами. Гонка вооружений "выпила кровь" из экономики и из народа, но создала могущественную и многочисленную касту военных и производителей оружия. Известное предвидение президента Эйзенхауэра об опасности военно-промышленного комплекса сбылось у нас больше, чем в США.

Противники без стеснения обвиняли Арбатова в том, что он стал смелым в эру Горбачева, а при Брежневе и двух промежуточных правителях помалкивал и поддакивал власть имущим. От этого отравленного оружия трудно защищаться: очень многие из нас вели себя так, и, наверное, Арбатову есть в чем себя упрекнуть.

Но я хочу рассказать эпизод, проливающий некоторый свет на этот вопрос. В 1974 г. в Тбилиси состоялась очередная Дартмутская встреча представителей науки, бизнеса, средств массовой информации СССР и США. В своеобразной системе взаимоотношений между двумя сверхдержавами эти заседания занимали свое место и играли в принципе положительную роль. Перед встречей советскую делегацию, в которой было человек 40—45, собрали в Москве во Всесоюзном комитете защиты мира. Заместителем председателя этой квазиобщественной организации, монополизировавшей значительную часть контактов с заграницей, был журналист- "ястреб" Юрий Жуков.

Он и Арбатов каким-то не совсем ясным образом делили между собой обязанности руководителей делегации. Первым взял слово Жуков и доверительно сообщил, что

он беседовал о предстоящей встрече с самим генеральным секретарем Брежневым, который якобы дал указание проявить жесткость, дать отпор, отстаивать позиции. Все приуныли: невеселое это дело — давать отпор и т.д.

Тогда встал Арбатов и (тоже сославшись на Брежнева!) сказал нечто противоположное: искать компромиссы, договариваться о совместных действиях и инициативах.

Каковы были на самом деле указания Брежнева (и были ли они вообще) — осталось нам неизвестным. Разумеется, на деле все следовали программе Арбатова, а не Жукова...

Кажется, первой книгой Гэлбрейта, которую я прочел от корки до корки, было "Общество изобилия". У нас над этим заглавием неумно зубоскалили: какое, мол, изобилие, если безработные и низкооплачиваемые (особливо черные) живут в нищете и так далее. На деле это заглавие иронично и многозначно. Оно выражает главную мысль автора: американское общество достигло высокого уровня обеспечения людей материальными благами (питание, жилье, одежда, автомобили и, как он мудро писал, тысячи в сущности ненужных вещей, навязываемых рекламой), но недопустимо мало заботится об общественных услугах: массовом образовании и здравоохранении, чистоте окружающей среды, общественном транспорте, зонах отдыха. Для 50-х годов это было крайне актуально. Можно думать, что яркая книга Гэлбрейта сыграла свою роль в тех изменениях, которые произошли по этой линии в Америке за последующие сорок лет.

Ни о каком изобилии в российском обществе говорить не приходится. За исключением верхней прослойки, мы плохо питаемся, неважно и нередко убого одеваемся, живем в тесноте, не имеем личного транспорта. Но проблема, поднятая Гэлбрейтом, встает у нас с остротой, которая и не снилась американцам. Элита тратит бешеные деньги в России и за рубежом, нас одолевает грубая и навязчивая реклама сомнительных товаров и услуг личного потребления, а между тем приходят в упадок библиотеки и музеи, школы и парки, железные дороги и аэропорты, стадионы и спортивные общества. Для нас Гэлбрейт совсем не устарел.

Для этого автора характерно не только богатство идей, но и удивительное умение находить для их выражения точные слова, убедительный и сильный язык. Гэлбрейт показал, как важно для экономиста, какие бы изменения ни происходили в его науке, хорошо владеть словом. Недаром среди его книг имеется "Триумф", снабженный подзаголовком "Роман о современной дипломатии". Если книга и не стала бестселлером, то, во всяком случае, существенно дополняет богатый интеллектуальный и духовный образ автора. Роман, действие которого происходит в вымышленной латиноамериканской "банановой республике" и в Вашингтоне, содержит ядовитую сатиру на американских внешнеполитических бюрократов.

При президенте Кеннеди Гэлбрейт был назначен американским послом в Индии. Он легко нашел общий язык с Джавахарлалом Неру, но не с чиновниками государственного департамента в Вашингтоне. Когда я был в Индии летом 1963 г., через несколько месяцев после завершения дипломатической карьеры Гэлбрейта, его необыкновенная личность и неординарное поведение были излюбленной темой разговоров индийских чиновников и дипломатического корпуса, включая советское посольство. Можно себе представить, какой удивительной белой вороной был он там! Из его дипломатического и политического опыта родился роман. У людей такого типа все идет в дело и все получается незаурядно.

Уж не знаю, как это у него получалось, но, сочиняя одной рукой "Триумф", Гэлбрейт другой рукой писал "Новое индустриальное общество", одну из самых заметных книг о современном капитализме, получившую поистине всемирное признание. По его мнению, традиционная экономическая теория оперирует понятиями и методами, которые относятся не столько к современной экономической системе, сколько к прошлому. Современная экономика состоит, в сущности, из двух подсистем — "плановой", представленной большими корпорациями, и "рыночной" — мелкого и среднего бизнеса. В своем анализе крупных корпораций Гэлбрейт стремится избежать крайностей. Консерваторы толкуют их как воплощение частной собственности акционеров, марксисты — как орудие финансовой олигархии. На деле это специфическая обще-

ственная форма, которая, с одной стороны, объективно необходима для технического прогресса, а с другой — объединяет усилия людей, представляющих разные уровни управления производством, сбытом, финансами. Объединение людей в крупной корпорации Гэлбрейт назвал техноструктурой.

Напомню себе и читателю, что задача этой книжки все же не в том, чтобы давать обзор сочинений и идей, и обращусь к личным воспоминаниям.

Особенно памятен мне визит к Гэлбрейту 3 ноября 1980 г. Дата эта знаменательна тем, что на следующий день были президентские выборы, принесшие большую победу Рейгану и Бушу.

...Моя рука тонет в громадной лапище Гэлбрейта. Он начинал трудовую жизнь на родительской ферме в Онтарио (Канада), а в колледже среди прочих предметов изучал слесарное дело. Говорит, что и теперь может сам справиться с несложным ремонтом водопровода.

Старый гостеприимный дом в Кембридже, в двух шагах от Гарвардского университета. На стенах фотографии американских политических деятелей с дарственными надписями, портреты миссис Гэлбрейт. Задерживаюсь взглядом на забавном дружеском шарже. Долговязый (более 190 см) Гэлбрейт с характерной бровастой и носатой физиономией возвышается над приземистыми Адамом Смитом и Карлом Марксом, положив правую руку на голову первому, левую — второму. Мы со смехом обсудили этот рисунок, который мне очень понравился. А месяца через полтора я получил в Москве его копию, которая и сейчас передо мной. Гэлбрейт не забыл и позаботился — это меня, конечно, очень тронуло. Я подумал: едва ли подобная любезность пришла бы в голову нашему соотечественнику.

Предвыборный день накладывает свой отпечаток. Сенатор Эдвард Кеннеди вновь баллотируется в Сенат от штата Массачусетс и хотел бы срочно встретиться с Гэлбрейтом, который, хоть и ушел из активной политики, по традиции остался видной фигурой в выборной кампании демократической партии. После часового разговора со мной он просит извинения и сдает меня на руки миссис Гэлбрейт, которая угощает меня чаем с печеньем. Часов в

шесть я прощаюсь и в медленно сгущающейся темноте иду пешком в свой отель в Бостоне, благо недалеко — не больше трех километров.

В этот день Гэлбрейт подарил мне свою — тогда новейшую — книгу "Записки убежденного либерала" (в следующем году журнал "Мировая экономика и международные отношения" опубликовал мою рецензию на эту работу). Она содержит, в частности, несколько автобиографических фрагментов, предвосхищающих более позднюю и изданную также в русском переводе книгу "Жизнь в наше время". Ясное дело, Гэлбрейту есть что рассказать. Он был высоким государственным чиновником при президенте Франклине Рузвельте, был и остается близким другом семьи Кеннеди, знал всех видных экономистов XX в., с иными из них вел упорную идейную войну, отстаивая идеалы американского либерализма — активную социальную деятельность государства, ограничение промышленного и финансового монополизма.

В этой книге есть эпизод, который Гэлбрейт раньше рассказывал нам в Москве и который ныне забавно актуален в свете появившихся документов о тотальной слежке в бывшем СССР за потенциальными диссидентами. Правда, у Гэлбрейта речь идет не о КГБ, а о ФБР. Опираясь на новое законодательство, он в конце 70-х годов затребовал у этого аналога нашей охранки копию своего досье. Он обнаружил, что за ним следили еще с 40-х. Нашелся там факт, подобный истории с тыняновским поручиком Киже. Еще в 1946 г. некий конгрессмен, давая в устной форме агенту ФБР оценку взглядам Гэлбрейта, назвал его доктринером (doctrinaire). Не очень грамотный агент записал это как "доктор Уэр" (doctor Ware). После этого в течение 20 лет в официальных бумагах ФБР фигурировал некий доктор Уэр, опасный подрывной элемент, каким-то загадочным образом связанный с Гэлбрейтом.

В 1989—1990 гг. я не раз обсуждал с Гэлбрейтом по почте и по телефону проект, который тогда меня занимал. Речь шла о том, чтобы издать на Западе мою книгу о развитии русской социально-экономической мысли на подходах к марксизму. В те годы казалось, что Америка, заинтересованная перестройкой и Горбачевым, может "клюнуть" на попытку по-новому объяснить, откуда взялся

этот русский марксизм со всеми его последствиями. На русском книга вышла в 1990 г., но, признаюсь, она мало радует меня. Рукопись, законченная где-то около 1988 г., носила на себе неистребимые следы конформизма и внутренней, в значительной мере подсознательной, самоцензуры. Переделки и доделки не могли этого устранить.

Для американцев я, конечно, многое переписал бы заново. Но это не понадобилось. Гэлбрейт (как, впрочем, и некоторые другие друзья на Западе) взялся за дело, объявив в своей обычной шутливой манере, что будет моим литературным агентом. Это было лестно и трогательно. Ведь, как говорится по-английски, the Grand Old Man. Как это лучше перевести: "Великий Старик"? Однако авторитет Гэлбрейта не помог, я только получил несколько вежливых писем от издателей с пожеланиями успеха. Но не у них, а у конкурентов. Полагаю, теперь шансов издать такую книгу еще меньше.

Как пишет Лестер Туроу, которого я уже цитировал, Гэлбрейт «никогда не верил в мудрость "невидимой руки". Если есть ведущая тема в его экономических сочинениях, то она в том, что государство должно играть роль в экономическом планировании, а планирование существенно для успешного развития экономики». Поясню, что "невидимая рука" — это знаменитое выражение Адама Смита, которое означает стихийную регулирующую функцию рынка.

Многозначительно и в высшей степени актуально для России. Старый советский Госплан и связанную с ним систему централизованного управления хозяйством мы сломали, но заменили ли мы их чем-то более эффективным и рациональным? Думаю, что нет. Между тем Гэлбрейт совершенно прав, что сложная современная экономика не может развиваться без умелого стратегического руководства из центра.

В годы горбачевской перестройки советские издательства часто печатали Гэлбрейта, когда он писал о проблемах СССР. Как обычно, все, что говорил и писал маститый ученый на эту тему, было умно и дельно, нередко — остроумно, и читали его с интересом. Освободить экономику от идеологии, преодолеть косность бюрократии и претензии военно-промышленного комплекса, вводить

рыночную экономику с социальной защитой — все это нам близко и понятно.

Гэлбрейт предостерегал в свое время от "шоковой терапии" — от резкого перехода к рынку со скачкообразным повышением цен и вероятным ростом безработицы.

В последние годы я его в нашей печати что-то не вижу: то ли не пишет, то ли у нас его не печатают.

Иосиф Адольфович Трахтенберг *(1883—1960)*

Составляя план книги, я задумался о том, в каком порядке мне расположить эти очерки. Хронологический порядок естественным образом сразу спутался и сбился. Значимость в науке? Дело деликатное и неопределенное. Сначала всех иностранцев, потом всех советских, российских? Или наоборот? Ни для того, ни для другого не видно веских оснований. Сначала Нобелевских лауреатов, потом всех остальных? Получается ненужное чинопочитание.

В конце концов, я решил расположить очерки так, как это сделано в издаваемой книге. Никаких особых причин для именно такого порядка нет. Обдуманно лишь профессор Любимов поставлен в конец: это ностальгическое воспоминание моей далекой юности, и им уместно закончить книгу.

Итак, даю советскую, российскую серию.

Когда в 1956—1957 гг. образовался и укомплектовался ИМЭМО, первый директор Анушаван Агафонович Арзуманян прежде всего привлек "старые кадры" — сотрудников разгромленного в 1947 г. Института мирового хозяйства и мировой политики, института Варги (ИМХ). От довоенных времен остались два академика-"мировика": сам Варга и Трахтенберг. Обоим было далеко за 70, и в штат они не пошли. Но некоторое участие в делах новорожденного института принимали. Трахтенбергу дали одного или двух аспирантов. Поскольку тема моей докторской дис-

сертации была близка к тематике его работ, я однажды (вероятно, в конце 1957 г.) попросил его совета и консультации. Трахтенберг позвал меня к себе домой, и я стал бывать у него один раз в два-три месяца. К несчастью, наши встречи продолжались недолго.

Трахтенберг запомнился мне небольшим сутулым стариком в старомодном и, вероятно, затрапезном синем костюме, с хрипловатым голосом завзятого курильщика. Жил он в обширной темноватой квартире в известном "доме академиков" в начале Ленинского проспекта. Квартира эта производила на меня впечатление особенно потому, что я жил в одной небольшой комнате коммунальной квартиры с женой и сыном, да с наезжавшей время от времени тещей.

Не помню, чтоб мы с Иосифом Адольфовичем когда-нибудь чаевничали. С его дочерью Марианной Иосифовной я, кажется, познакомился лишь после его смерти, когда стал ответственным редактором посмертного издания его трудов. Но разговоры мы с ним вели долгие и порой сердечные.

Мой отец, который был тогда еще жив, помнил Трахтенберга по Томску: тот был студентом Томского университета примерно в те же годы, когда мой отец — студентом Технологического института императора Николая II. К тому же и я родился в Томске. Не знаю, сыграла ли эта линия связей какую-нибудь роль в нашем сближении, но иногда мы говорили о Томске.

Я напомнил Иосифу Адольфовичу об одном эпизоде: в 1948 г. я, студент четвертого курса Института внешней торговли, выступал с краткой репликой на заседании в Институте экономики, где делал научный доклад мой профессор по институту А.М. Алексеев, а председательствовал Трахтенберг. Речь там шла о военных деньгах, то есть о бумажных деньгах, выпускаемых на оккупированных территориях государством-оккупантом. По поручению и по протекции этого профессора я несколько месяцев копался в архивах Министерства хозяйства Германии, вывезенных как трофеи в Москву. Трахтенберг великодушно сделал вид, что вспомнил этот мой дебют.

Для меня же это было, конечно, большое событие: представьте себе, какая честь для студента говорить о сво-

ей работе в Академии наук, перед лицом докторов и кандидатов и даже одного академика! Наверное, мои намерения после этого памятного заседания можно было бы сформулировать примерно так: "Я б в ученые пошел, пусть меня научат!"

О другом эпизоде я не стал Трахтенбергу напоминать. Как я писал во вступительном очерке, в 1956 г. известные ученые показались мне изрядными невеждами в комиссии Шепилова по "выведению рубля на мировую арену". Среди них был и мой консультант. Конечно, теперь речь шла не о специальных вопросах валютной политики, от которых он был далек, а о теории кредита и банков. В этом едва ли кто-нибудь разбирался в то время лучше, чем он.

Трахтенберг был марксистом до революции. Его книга "Бумажные деньги", вышедшая первым изданием в овеваемом ветрами гражданской войны Харькове в 1918 г., представляла собой умелое применение марксистской теории к многообразным явлениям бумажно-денежного мира. Это был вполне "добровольный", основанный на убеждениях и жизненном опыте марксизм, а не обязательный, предписанный сверху, каким он стал очень скоро, в течение 20-х годов. Трахтенбергу, вероятно, было легче приспособиться к этому сдвигу, чем "буржуазным" ученым, которые оказались перед нелегким выбором: эмигрировать, замолчать или приспособиться. Но, думаю, ему это тоже стоило трудов, компромиссов и насилия над собой. Характерно, что в партию он так и не вступил и остался тем, что тогда отчасти иронически называли "беспартийный большевик". Этим он отличался от Варги, который был прежде всего коммунист, а потом уже ученый.

В 20-х годах Трахтенберг много работал в разных советских экономических учреждениях, но едва ли пришелся там ко двору. В то же время он продолжал исследовательскую работу, итогом которой явилась его, возможно, лучшая книга "Современный кредит и его организация. Теория кредита" (1928 г.).

Отмечу лишь одно достижение автора, имеющее прямое отношение к нынешнему бурному развитию российских банков. На основании нескольких высказываний Маркса (как было принято в то время) в нашей литературе сложилось представление о преимущественно посред-

нической роли банков. Их роль в кредитной экспансии и тем самым в создании денег недооценивалась. Трахтенберг выступил против этого тезиса и попытался теоретически определить границы кредитной экспансии банков.

Он получил признание как один из ведущих экономистов-теоретиков. В 1931 г. Варга взял Трахтенберга на работу в ИМХ, который под впечатлением Великой депрессии (мирового экономического кризиса) занимался в основном проблемами капиталистических циклов и кризисов. Этого требовала партия: считалось, что глубокий экономический кризис предвещает крах капитализма как системы.

Трахтенберг с группой сотрудников готовил монументальный том о денежных кризисах, который вышел в свет в 1939 г. Это добросовестная работа, которую можно и теперь использовать как источник материалов по истории кризисов.

Книга содержит исследование природы и основных элементов тех кризисов, которые поражают банки, кредит и рынок ценных бумаг, денежное обращение. Далее следуют главы, посвященные характеристике конкретных кризисов начиная с 1825 г. и кончая 1930-ми годами. Она может быть полезна как экономистам, так и историкам.

В том же году Трахтенберг, в паре с Варгой, был сделан академиком без промежуточного член-корреспондентского стажа. Надо думать, без согласования с самым верхом, вплоть до Сталина, здесь не обошлось. О том, как избирались академики, можно судить по такому рассказу о "фортуне" Льва Николаевича Иванова. За достоверность не ручаюсь, но все же перескажу. Он тоже работал в ИМХ и занимался морской политикой капиталистических стран. Незадолго до войны какая-то его записка волею судеб попала на стол Сталину, который почитал ее и похвалил автора. К этому времени Иванов, если не ошибаюсь, был лишь кандидатом наук. Через несколько месяцев он стал членкором, а через три года — академиком.

Упаси меня Бог этим бросить тень на академическое звание Трахтенберга. Вероятно, он заслужил его больше, чем кто-либо другой, и носил достойно. Его работы, опубликованные в первые послевоенные годы, остаются одними из лучших для того времени. Ему повезло. Он мало за-

нимался идеологически острыми и опасными проблемами экономики, скромно сидел на финансах и не высовывался. Насколько я помню и знаю, репрессии против ИМХ и борьба с "космополитизмом" его прямо не затронули. В период между закрытием ИМХ и открытием ИМЭМО он продолжал работать в Институте экономики и написал еще одну книгу, далеко, впрочем, не лучшую. Но кто может похвастать серьезным вкладом в экономическую науку, сделанным в первой половине 50-х годов? Иные, думаю, предпочли бы, чтобы теперь забылось то, что они тогда писали и публиковали...

Что помню я о наших профессиональных беседах с Иосифом Адольфовичем? В 1958—1959 гг., когда мы с ним встречались, я был на начальной стадии исследования, из которого вышла диссертация и опубликованная в 1964 г. книга "Кредитная система современного капитализма". В основном я обсуждал с ним замысел и структуру работы. Вероятно, в этом отношении он мне немало помог. Каждый исследователь, начиная работу, неизбежно оказывается перед необозримой массой материалов, переплетающихся и ветвящихся проблем. Как себя ограничить, как выделить главное, а многое, хотя и кажущееся интересным, отбросить? Вот здесь совет опытного человека очень нужен и полезен. Такую роль в моем случае сыграл Трахтенберг, за что я ему благодарен. Вскоре я ввел в свою работу два главных ограничения: только материал США и только структурно-институциональные аспекты кредитной системы. Надеюсь, это пошло работе на пользу.

Как и многие русские экономисты, выросшие в первую четверть нашего века, Трахтенберг был воспитан на немецкой литературе. Если вы просмотрите библиографию двух его первых больших книг, вы найдете много ссылок на экономистов Германии и довольно мало — на американских и английских авторов. Я думаю, Соединенными Штатами он стал вплотную заниматься только во время и после второй мировой войны. Он никогда не бывал в этой стране, и я не помню, чтобы американские дела, которыми мне впоследствии пришлось так много заниматься, были важным предметом этих бесед.

Издание трудов И.А. Трахтенберга в двух томах было одним из главных моих занятий в 1961—1963 гг. Я написал

вступительные статьи к обоим томам. Что касается текстов, то в книгах, которые мы перепечатывали по изданиям 20-х и 30-х годов, редакционная коллегия практически ничего не трогала. Но послевоенные работы пришлось "очищать" от несуразных славословий коммунистической партии и товарищу Сталину, от бессодержательных проклятий американскому империализму.

Честно говоря, не знаю, как эта операция выглядит с точки зрения литературной этики и авторского права. Но внутренне я не сомневался, что автор не возражал бы против нее. Примечательно и характерно для Трахтенберга, что эти чужеродные фразы были написаны как-то неумело или небрежно, порой звучали просто пародийно. Стар он был, чтобы усвоить стиль борзописцев 40-х и 50-х годов.

А может быть, эти фразы вписывал своей рукой редактор. Со мной был такой случай. В 1950 г. я опубликовал свою первую статью, где сопоставлялось экономическое развитие Запада и Востока Европы. Статья эта писалась по заказу и подгонялась под заданную идеологическую схему: время стояло, как вы понимаете, самое черносотенное. Но все же она была по тем временам умеренной и, надеюсь, довольно разумной. Когда же я получил свежий номер журнала, я схватился за голову: ничего не согласовывая со мной, редакция вписала два абзаца о Югославии, наполненные почти матерной руганью по адресу "фашистской клики Тито" и содержащие взятые с потолка и заведомо фальшивые цифры. Так с тех пор мне неохота заглядывать в этот номер журнала.

Евгений Самуилович (Ене) Варга *(1879—1964)*

Должен сознаться, что наше "знакомство" с Варгой было, так сказать, односторонним. Я его знал в том смысле, что несколько раз слышал его выступления и однажды перемолвился парой слов, но он едва ли выделял меня из тол-

пы молодых сотрудников ИМЭМО. Тем не менее я решаюсь поделиться некоторыми впечатлениями.

Варга считается своего рода "святым патроном", отцом-основателем ИМЭМО, и каждое десятилетие его очередной юбилей отмечается заседаниями, докладами, статьями. Я сам принимал некоторое участие в этих мероприятиях.

Институт традиционно рассматривает себя как идейного и организационного наследника Института мирового хозяйства и мировой политики, которым много лет единолично руководил Варга. Унаследованная от Варги общая позиция, которую я (может быть, довольно неуклюже) назвал бы "умеренным коммунистическим либерализмом", определяла лицо ИМЭМО вплоть до потрясений последних 5—6 лет. Варга, так сказать, завещал институту борьбу против советского консерватизма и марксистского догматизма.

Труды Варги, всегда предельно политизированные, пронизанные искренней верой в торжество коммунизма и в неизбежный крах капитализма, являются памятниками эпохи. Они важны для понимания путей развития общественных наук в СССР. Более того, кое-что важно в них для советской истории.

Первая половина долгой жизни Варги прошла в Венгрии, где он родился и вырос. Там его звали Ене Варга. К концу этого периода жизни он был видным левым деятелем австро-венгерской социал-демократии и профессором экономики в Будапеште. В Венгерской Советской Республике, просуществовавшей несколько месяцев в 1919 г., Варга занимал высокие государственные посты. После ее поражения бежал в Австрию, а потом перебрался в Москву. Много лет он был активным деятелем Коминтерна, руководимого Москвой объединения коммунистических партий. Коминтерн был формально ликвидирован Сталиным в 1943 г. ради успокоения западных союзников по войне.

В конце 30-х годов московская колония иностранных коммунистов подверглась массовому физическому уничтожению. Этот холокост был настолько тотальным, что уцелевшие вызывали удивление, а иногда подозрение: почему их пощадили?

Варга не пострадал, хотя практически все руководство венгерской компартии было истреблено и репрессиям подверглась значительная часть сотрудников его института. В недавно опубликованном документе, который является своего рода политическим завещанием, Варга пишет: "... Хотя Сталин предал смерти десятки тысяч лучших русских и иностранных коммунистов, меня он дважды спас: в 1938 году, когда ГПУ хотело арестовать меня на основании бесчисленных ложных показаний, и в 1943 году, когда мерзавец Вышинский обвинял меня в защите гитлеровского империализма. Почему Сталин так поступал, я не знаю! Может быть, он полагал, что я ему еще понадоблюсь". Кстати сказать, написано это по-немецки.

Как известно, в 1938 г. людей арестовывал НКВД, несколькими годами ранее сменивший ГПУ. Заметим и то, что речь у Варги идет только о гибели коммунистов и ни слова не говорится о миллионах других жертв.

Видимо, Варга считал, что его жизни и свободе уже не угрожала опасность, когда в 1947 г. подвергся разгрому его институт, а его собственные труды были смешаны с грязью. Тут Сталин ему не помог.

Около 1965 г. бывший секретарь Варги, пожилая женщина, говорила мне, что в конце 30-х годов Варга имел важный телефонный разговор со Сталиным. Она полагала, что Сталин позвонил Варге в ответ на его отчаянное письмо, в котором Варга просил скорее решить его судьбу, поскольку ожидание гибели для него невыносимо. По ее словам, Сталин с отличавшим его загадочным лаконизмом сказал только: "Работайте, товарищ Варга, работайте".

Кажется, этому факту нет документального подтверждения. Но едва ли женщина могла просто выдумать такое. Видимо, в этом рассказе переплелись какие-то факты с легко рождавшимися легендами.

Несмотря на эти обстоятельства, расцвет научной и политической деятельности Варги пришелся на 30-е годы. Он руководил коллективом сотрудников, занимавшихся анализом мирового экономического кризиса, и был главным консультантом высшего руководства по проблемам мирового хозяйства и международных отношений. В основном ему принадлежат международные разделы докла-

дов Сталина на XVII и XVIII съездах партии. Вероятно, в этом и заключался секрет "заступничества" вождя за Варгу. В "шарашке", подобно Туполеву или Королеву, он едва ли пригодился бы; поэтому был оставлен на свободе, если можно назвать свободой еженощное ожидание ареста.

Когда я впервые увидел Варгу, это был маленький сухонький старичок с лицом, как печеное яблоко, с каким-то желтым козырьком, прикрывавшим больные глаза. Говорил он высоким резким голосом. Варга до конца жизни сохранил выраженный акцент и не вполне свободно говорил по-русски. Это создавало порой комические ситуации, о которых ходили анекдоты. Самый знаменитый гласил, что однажды Варга на каком-то собрании сказал: "По коридорам ходят шлюхи..." Он хотел сказать "слухи", но произнес это слово как "шлюхи". Поскольку в здании на Волхонке работало много молодых женщин, это звучало особенно пикантно.

В 1954 г. я был свидетелем такого любопытного случая. Как автор статьи, написанной для журнала "Вопросы экономики", я присутствовал на заседании редакционной коллегии. Во главе длинного стола, крытого традиционным зеленым сукном, сидел главный редактор К.В. Островитянов, по обе стороны стола — члены редколлегии, а авторы, в том числе и я, примостились на стульях, которые стояли вдоль стен кабинета и у окон. Дело происходило все в том же желтом здании на Волхонке.

Обсуждалась статья, которую дал академик С.Г. Струмилин. Речь в статье шла о применении Марксовых схем воспроизводства к социалистической хозяйственной системе. Помните эти огромные цифровые примеры с дробями, первое подразделение, второе подразделение?.. Варга был членом редколлегии журнала и в этом качестве читал рукопись статьи.

Надо сказать, что по внешности и манере поведения трудно было найти двух столь разных людей. В противоположность Варге Струмилин был массивный, более чем 75-летний старик с бородой лопатой и могучим басом. Варга, выступая с оценкой статьи, которая ему явно не нравилась, мелкими шажками бегал по кабинету вдоль стола, за которым сидели члены редколлегии и автор.

Струмилин же неподвижно сидел за столом, время от времени нервно пропуская бороду через большую ладонь.

Варга высказал смелую по тем временам мысль, что надо бы перевести цифровые примеры Маркса на язык алгебры, и продолжал критиковать статью Струмилина, причем от волнения его характерный акцент усиливался. Наконец, взвинтив себя своей собственной речью, он почти закричал срывающимся на фальцет голосом: "Это же глюпо!" Тогда Струмилин поднял голову и очень громко пробасил: "Что?" Варга опомнился, остановился и, заикаясь, проговорил: "Глю... Глюбоко неправильно!"

В этой сцене был свой комизм, но она вместе с тем хорошо отражает характер Варги — во всяком случае, в той мере, в какой я его понимаю. Несмотря на весьма преклонный возраст, в нем не было и следа равнодушия, безразличия, усталости. Мне трудно вспомнить точно, но полагаю, что еще несколько его докладов и выступлений я слышал в 1958—1960 гг. Всегда это было живо, остро, полемично. Кажется, после этого Варга почти не появлялся в институте (ему уже было за восемьдесят!), но, как мне говорил Я.А. Певзнер, его ученик и коллега, время от времени приглашал нескольких близких ему сотрудников к себе домой и вел с ними ученые беседы.

Опале Варга подвергся в 1947 г. вовсе не за то, в чем он, может быть, был действительно виноват: в начале советско-германской войны Варга уверял руководство, что германская военная машина неспособна вести длительную войну из-за отсутствия сырьевых ресурсов, особенно нефти. Этот прогноз с треском провалился. Свои публичные выступления и статьи, содержавшие такие утверждения, он впоследствии оправдывал тем, что это независимо от фактов помогало поддерживать боевой дух советского народа.

Роковые "ошибки" были найдены в книге Варги "Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны", изданной в 1946 г. Обвиняли его главным образом в переоценке роли государства в западных странах, что вело, мол, к преуменьшению противоречий и неустойчивости капитализма. Впрочем, если где-то наверху было решено расправиться с человеком и кругом близких

к нему лиц, то найти и ошибки, и обвинителей было несложно.

Хотя Варга, как говорят лично знавшие его люди, тяжело переживал это крушение и вынужденный отход от активной деятельности, ему еще раз повезло. Он пережил своего ровесника из Кремля и дожил до оттепели. Как видно из его завещания, Варга не выносил и тайно презирал Хрущева, считая, что при нем произошло окончательное бюрократическое перерождение социализма. Он и при новой, относительно либеральной, власти не мог напечатать все, что думал: отсюда и секретное завещание. Но все же написал и опубликовал многое из того, что раньше было под запретом.

Варга оставался марксистом и коммунистом и не думал пересматривать принципы, которых придерживался всю жизнь. Он только пытался внести долю реалистичности в ту картину современного капитализма, которая была обязательной для советского автора. Но и это много значило в то время.

За несколько месяцев до смерти Варга выпустил книгу "Очерки по проблемам политэкономии капитализма", которая на последующие годы стала своего рода знаменем антидогматизма. Это серия очерков, в каждом из которых автор пытается в чем-то опровергнуть "наших догматиков". Речь идет о возможностях государственного регулирования экономики, о межимпериалистических противоречиях, о положении рабочего класса, об экономических кризисах и о многом другом.

Ну что ж, сделал, что мог и как мог.

Израиль Григорьевич Блюмин *(1897—1959)*

Я знал Блюмина только в последние два года его жизни. Случилось так, что я его хоронил: заведующий сектором общих проблем современного капитализма Мендельсон был не то в отпуске, не то болен, и я его замещал, в том числе, к несчастью, и по похоронному делу.

В моей памяти встает сутулая грустная фигура, бледное длинное лицо в очках с толстенными стеклами, на которые иногда падали длинные пряди нестриженых полуседых волос. Голос был глухой и тихий, как будто всегда смущенный. Из застенчивости или по привычке Блюмин, выступая на заседании или беседуя с человеком, смотрел не на публику и не на себеседника, а куда-то в сторону.

Наше общение с Израилем Григорьевичем ограничивалось заседаниями сектора, которые, правда, тогда были частыми и благодаря взрывному характеру самого Мендельсона и еще одного или двух членов сектора — нередко очень бурными. Иной раз это были просто спектакли своего рода. Разумеется, Блюмин никакого участия в этих спектаклях не принимал, сидел молча, глядя в пол или в окно, и говорил только тогда, когда было совершенно необходимо. Пожалуй, два или три раза мы с ним беседовали с глазу на глаз, но не могу сказать, чтобы это были разговоры "за жизнь". Слишком многое нас разделяло. Я только начинал свою научную "карьеру", присматривался и приспосабливался к академической среде, а он был в конце трудного, порой мучительного, жизненного пути.

Блюмин казался мне сломленным человеком и вызывал вместе с уважением чувство жалости. Наверное, внешне это объяснялось болезнью, которая вскоре свела его в могилу. Но в моем восприятии болезненность неразрывно соединялась с тем, что было известно о его научной и личной судьбе в 30-х и 40-х годах. Он не попал в тюрьму, как многие, но страшное время перемололо его. Вероятно, Блюмин от природы был человек скромный и неброский. Но то чувство придавленности, прибитости, которое он вызывал, было, я думаю, приобретенным. Есть пожилые люди, которых вы легко можете представить молодыми, какими они были годы и десятилетия назад. Представить Блюмина молодым мне было трудно.

В науке известны люди, которые создавали что-то новое и заметное к 30—35 годам, а потом замолкали или неинтересно перепевали самих себя. Если это происходит по внутренним причинам, связанным с психологией личности, остается лишь вздохнуть с легкой грустью. Но с Блюминым это случилось по причинам совершенно внешним.

Как у нас любят говорить по разным поводам, "время было такое".

Его образование было прервано гражданской войной, и Блюмин окончил Московский университет лишь в 1924 г. уже зрелым человеком. Через четыре года он опубликовал книгу, подобной которой не было и, пожалуй, до сих пор нет в России. Это была двухтомная "Субъективная школа в политической экономии", итог поистине геркулесовых трудов. Автор предпринял попытку обозреть всю немарксистскую экономическую мысль второй половины XIX и начала XX в. Классическая школа Смита—Рикардо—Милля раскололась на марксизм, который настаивал на строго трудовой теории ценности и "эксплуатационной" концепции распределения доходов, и на широкую радугу идей, из которых выросла вся современная экономическая наука. Марксисты называли новые направления, сложившиеся примерно в 1870-х годах, субъективной школой, поскольку она отказывалась видеть источник ценности товаров исключительно в затратах прошлого труда (объективном факторе), а делала упор на то, как потребители оценивают товар исходя из его полезности и своих потребностей. Ну а полезность, конечно, включает субъективный элемент. Новым в экономической науке было применение математики как универсального метода анализа явлений, имеющих количественное выражение.

Блюмин был, конечно, марксистом. Никем другим он быть не мог, поскольку другой общественной науки в СССР легально не существовало. Вполне вероятно, что марксизм его был органичным, естественно усвоенным. В этом смысле он примыкал к уже сложившейся идеологической марксистской критике буржуазной политической экономии, начатой такими людьми, как Рудольф Гильфердинг на Западе и Николай Бухарин в России. Вопреки расхожей версии сталинских времен, оба были в своих работах этого рода вполне ортодоксальными марксистами и критику своих противников вели с классовых позиций, рассматривая ее прежде всего как задачу политической борьбы. Но Блюмин не был политическим деятелем и, я полагаю, не ощущал в себе задатков борца. Он был по своей натуре исследователь и аналитик. И он сделал то, что было еще возможно в 20-х годах, но стало немыслимо в

следующем десятилетии: добросовестно и талантливо изложил содержание новых экономических теорий и дал их *научную* критику исходя из сильных сторон марксизма, как он их понимал.

Молодые поколения советских экономистов могли теперь получать знания в области современной экономической мысли из рук в высшей степени квалифицированного и честного ученого. Не вина Блюмина, что этого не произошло. Обстановка в стране менялась стремительно. К марксизму был присоединен ленинизм, и общественные науки стали застывать в чудовищных догмах сталинской эпохи. Талантливые и честные ученые сделались не нужны, а иные, как Чаянов и Кондратьев, были физически уничтожены.

Книга Блюмина, вышедшая двумя изданиями очень скромным тиражом, осталась печальным и вместе с тем обнадеживающим памятником эпохи. Она была переиздана лишь в 60-х годах, после смерти автора.

Но дело вовсе не ограничилось забвением. Для первых партийных проработчиков и погромщиков Блюмин был, конечно, легкой добычей. По части знания экономических теорий они не стоили блюминского мизинца, более того, они кичились своим невежеством и почти откровенно ставили Блюмину в вину его знания. В журналах 1930—1931 гг. можно найти весь набор обвинений в его адрес с политическими и организационными выводами. По словам одного критика, книги Блюмина — "вредные, антимарксистские" и "этому нужно положить предел".

Именно так и поступили. В Институте экономики Академии наук, где работал в эти годы Блюмин, ему было запрещено заниматься любимым делом. Его отставили от науки, признанным знатоком которой он был. Сначала Блюмина посадили на конкретную советскую экономику: было время первой пятилетки, и всю работу надо было подчинить ей. Результатом этой принудиловки стала его книга о комбинатах в советской промышленности, о которой мне трудно сказать что-либо определенное. Зато я пристально изучал следующую его книгу — о русской экономической мысли первой половины XIX в. Такую работу Блюмин просто не мог сделать плохо, и она, безусловно, превосходит соответствующие разделы официальной

"Истории русской экономической мысли", которую с 1955 г. начал выпускать том за томом Институт экономики. Несмотря на недостатки, все же жаль, что это издание так и не было доведено до конца.

После войны Блюмину было дозволено вернуться к западной экономической мысли. Но это, видимо, был уже другой человек. Его книги 50-х годов хоть и отмечены добросовестностью и знанием предмета, в целом производят удручающее впечатление и едва ли представляют теперь интерес. Они несут на себе трагические следы вынужденного приспособленчества, насилия над самим собой, может быть, раздвоения личности.

Блюмин читал курс истории экономической мысли в Московском университете. Возможно, в устной речи он был смелее и оригинальнее, чем в этих книгах. Во всяком случае, студенты его выделяли из тогдашней профессуры. Но печальный опыт заставлял его осторожничать. Одна его студентка, писавшая у него в начале 50-х годов дипломную работу о Кейнсе, говорила мне: «Блюмин почитал, похвалил, а потом, застенчиво глядя в сторону, сказал: "Знаете что, как бы нас не обвинили в объективизме"». Это загадочное клише — "буржуазный объективизм" — было тогда в моде, и никто от такого ярлыка не был застрахован, а Блюмин и подавно.

Говорят, у него была привычка писать конспект лекции мельчайшим почерком на маленьких клочках оборотной (с напечатанным с одной стороны текстом) бумаги. По ходу лекции он доставал эти листочки из кармана пиджака и после использования отправлял их туда обратно.

Блюмин пригодился, чтобы написать в 1948 г. квалифицированную вводную статью к русскому изданию "Общей теории занятости, процента и денег" Кейнса. Но, по всей видимости, он вплоть до хрущевской эры был где-то наверху под сильным подозрением. Об этом можно судить по такому факту. Несколько лет назад я, работая в библиотеке имени Ленина, заказал это издание. Каково же было мое изумление, когда, получив книгу, я обнаружил, что статья Блюмина аккуратно вырезана, а его фамилия на титульном листе подчищена. Видно, кто-то поторопился или получил ложный сигнал, что автор — враг народа.

Судьба Блюмина наводит на разные размышления. Люди различны по их психической организации, по степени устойчивости к таким стрессам, как инквизиторские проработки 30—40-х годов.

Мендельсон, который на моих глазах подвергся отвратительным унижениям и, несомненно, перенес еще много горького, к 1957 г., когда я пришел на работу к нему в сектор, восстал, как Феникс из пепла, и всех поражал энергией, боевитостью, я бы сказал — задиристостью. Правда, уже в 1962 г. он умер от лейкоза, и кто знает, откуда взялась эта болезнь.

Словесные бои, в которых Мендельсон легко переходил на личности, теперь, слава Богу, никому не грозили ни отлучением от марксистской "церкви", ни отстранением от должности. Но вкладывал он в них ту же страсть, с какой сражался в прежних дискуссиях, которые для кого-то из участников могли кончиться "черным воронком" — тюремной машиной.

Из Блюмина турнирный боец был никакой. Это был тип кабинетного ученого, человек скромный, сдержанный, мягкий. Неудивительно, что такой человек был сломлен обрушившимся на него валом поношений и клеветы.

Мало кто способен, как Джордано Бруно, взойти на костер, не отрекаясь от своих убеждений. Не все способны, как Галилей, смириться для вида и по-тихому продолжать свое дело. Наверное, самой многочисленной была третья категория жертв инквизиции — люди, которые сгибались и ломались. И это был показатель ее успеха.

Блюмин относился к такому большинству, и не нам, разумеется, упрекать его. Мы потеряли тех, кто погиб. Мы потеряли тех, кто эмигрировал. Но список потерь далеко не исчерпывается этим. Под прессом тоталитарного государства и агрессивной идеологии очень многие талантливые люди не сделали того, что они могли бы сделать в других условиях.

Не знаю, было ли для Блюмина утешением то, что в эти последние годы он пользовался всеобщим уважением и, смею думать, симпатией. Кажется, среди ученых ИМЭМО он был единственным, кто, не будучи академиком, удостоился посмертного собрания сочинений. Не было, впрочем, секретом, что это издание было в большой мере

предпринято для того, чтобы переиздать его "Субъективную школу" — шедевр 20-х годов.

И даже посмертно судьба сделала ему жестокую гримасу: самым видным членом редакционной коллегии трехтомного издания, в котором эта книга составила первый том, оказался член-корреспондент А.И. Пашков, автор самых ядовитых выпадов против Блюмина в начале 30-х годов.

Пол А. Самуэльсон
(р. 1915)

Собравшись написать эти несколько страниц, я вновь чувствую, сколь самонадеянно мое мемуарное предприятие. Я беседовал с профессором Самуэльсоном всего один раз. В начале 60-х годов я был одним из редакторов русского перевода его знаменитого учебника. Но не более. Прочтя статью о нем, опубликованную в связи с присуждением ему Нобелевской премии по экономике, я еще раз убедился, что плохо знаю его научные труды. Более того, в силу исходной ограниченности моего советско-марксистского образования мало способен их по-настоящему понять. И все же: может быть, этот взгляд из Москвы что-то добавит к толкованию духовного облика одного из самых талантливых ученых XX в.

Мою совесть немного облегчает ироническое и самокритичное замечание самого Самуэльсона, что некоторое время он совершенно не понимал, о чем идет речь в опубликованной в 1936 г. книге Кейнса. Он добавляет, что, по меньшей мере, первые полтора года после выхода книги никто из его ученых коллег в Гарвардском университете этого не понимал. И уже совсем не знаешь, что думать о следующем парадоксе: "В сущности, есть основания полагать, что до появления математических моделей (трактующих построения Кейнса. — *А.А.*) сам Кейнс по-настоящему не понимал свой собственный анализ".

Учебник Самуэльсона, изданный в русском переводе в 1964 г., заслуженно популярен в СССР и России. Он был

первым из западных учебников, вышедших на наш рынок, и, возможно, остается лучшим из них.

Но при всей важности учебника вклад Самуэльсона в теорию содержится в его научных трудах, покрывающих все поле современной экономики. К сожалению, американские издания этих трудов неполно представлены в наших больших библиотеках, да и то, что есть, пылится на полках и практически не участвует в научном процессе.

Судьба Самуэльсона в России иллюстрирует отрыв нашей науки от магистрального потока мировой экономической мысли. Богатство этой мысли остается у нас в огромной мере невостребованным. "Политэкономы" (нематематизированные экономисты) не интересуются всем этим как по причине усвоенного марксистского догматизма, так и в силу своей слабой или нулевой математической подготовки. "Математики" мало интересуются чистой теорией, предпочитая эконометрические и статистические методы.

Нынешняя обстановка не слишком благоприятна для глубокого изучения и усвоения западной теоретической экономии. Царит не только атмосфера освобождения и раскрепощения мысли, но и атмосфера напряжения и тревоги, а она совсем не располагает к длительному упорному труду. Боюсь, что потребуется смена поколений, чтобы преодолеть пропасть между "западной" и "восточной" экономической наукой.

Русский перевод учебника Самуэльсона родился из оттепели конца 50-х и начала 60-х годов. Переводилось пятое издание уже получившей всемирное признание книги, опубликованное в оригинале в 1961 г. В качестве противоядия против буржуазного духа книга была в виде исключения снабжена не только вступительной статьей, но и зубодробительным послесловием, которое начиналось характерной фразой, не оставлявшей у читателя никакой надежды: "В современном мире, главной особенностью которого является переход от капитализма к социализму и коммунизму, идет ожесточенная борьба между коммунистической и буржуазной идеологией". Вдобавок ко всему этому на титульном листе было опять-таки напечатано "Для научных библиотек".

Хотя книга Самуэльсона дидактически безупречна и написана прекрасным ясным языком, для группы молодых переводчиков это был нелегкий труд. Кроме того, сам групповой метод работы плох для перевода, так как каждый нередко использует свои русские термины для не вполне устоявшихся в нашем языке понятий. Отсюда — необходимость редакторов. Но редакторов оказалось тоже трое, так что на мою долю из шести частей учебника пришлись только вторая и пятая части (макроэкономика и международные экономические проблемы).

Александр Гершенкрон, недавно умерший американский ученый, хорошо знавший русский язык, дал в особой статье справедливую, хоть порой язвительную и не очень приятную для переводчиков и редакторов, оценку русского издания Самуэльсона. Эта критика большей частью справедлива. Все мы были тогда и недостаточно опытны, и недостаточно внимательны. С другой стороны, если бы какой-нибудь идеально компетентный и добросовестный переводчик взялся один за перевод огромной книги, мы, пожалуй, вовсе не дождались бы результата, тем более что идеологическая цензура в эти годы начинала вновь свирепеть.

Самуэльсон осуществил невероятный по объему труд, выпустив одиннадцать изданий учебника и продолжая продуктивно работать как теоретик и как педагог. (Упомяну в скобках, что у него за эти годы родились и выросли шестеро детей!) Каждый раз он совершенствовал и во многом обновлял текст, вводя материал, который отражал как новые достижения науки, так и изменения в мировой и американской экономике. Если бы у нас в течение сорока с лишним лет переиздавался подобный учебник, в списке соавторов, редакторов и рецензентов в конечном счете наверняка числились бы десятки имен. Начиная с двенадцатого издания, вышедшего в середине 80-х годов, соавтором Самуэльсона стал молодой профессор Уильям Нордхауз из Йельского университета. Не знаю, собирается ли какое-нибудь российское издательство выйти на новый, остроконкурентный рынок с переводом одного из новейших изданий.

И все же издание русского перевода учебника Самуэльсона было важным достижением. Прошла четверть ве-

ка, прежде чем читателям и студентам стали доступны другие западные учебники. Для целого поколения он был окном в современную экономическую науку. Это важнее, чем недостатки перевода, сколь бы серьезны они ни были.

Наверное, не самой важной, но, безусловно, самой смешной была следующая ошибка в переводе. В эпиграфе к одной из глав у Самуэльсона по доброй англосаксонской традиции цитируется "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла. Переводчик спутал *Моржа* (Walrus), персонажа этой сказки, с франко-швейцарским экономистом *Леоном Вальрасом* (Walras)! Действительно, разница всего в одной букве. К тому же знаменитая сказка с ее универсальным юмором тогда была еще мало известна в СССР. Это сравнимо только с таким эпизодом. Мне пришлось быть в 1963 г. в Индии с Борисом Васильевичем Петровским, впоследствии министром здравоохранения, известным хирургом, одним из пионеров операций на сердце. Такую операцию он успешно сделал по просьбе индийцев в Дели. На другой день местная газета сообщила, что профессор расширил сердечный клапан *коммунистическим* (communist) инструментом — пальцем. Опечатка или намеренная шутка состояла в замене этим словом похожего слова commonest, что означает "самый обыкновенный".

Среди советских ученых-экономистов, отправляющихся в Америку обычно на один—три месяца, было своеобразное соревнование: кто сумеет встретиться с бóльшим числом знаменитостей. Самуэльсон и Гэлбрейт занимают в этом списке два первых места, трудно сказать, кто — первое, кто — второе. Зная, как его осаждают советские, я не был уверен, что мне удастся увидеть Самуэльсона. Но помог наш общий знакомый профессор Евсей Домар, которого мы незадолго до этого принимали в Москве. Он фигурирует у меня выше в очерке о Харроде.

Самуэльсон и Домар были ведущими профессорами экономики в Школе управления Слоуна при Массачусетсском технологическом институте в Кембридже. Оттуда километра полтора или два до Гарвардского университета и в противоположную сторону немного больше до центральной части Бостона. Напоминаю, что "школа" в этом смысле означает учебное заведение примерно на уровне нашей аспирантуры. Когда Самуэльсон пришел туда в

1940 г., экономика как предмет влачила в Школе Слоуна довольно жалкое существование. В значительной мере благодаря ему теперь это крупный центр экономического образования и исследований.

Кабинеты Самуэльсона и Домара оказались объединены одной приемной, где сидела секретарша — одна на двоих. Когда я пришел, Домар был на месте, а в кабинете Самуэльсона... была только собака, такой симпатичный терьер. Мне объяснили, что хозяину не с кем его оставить дома, вот и приходится возить в институт. Не уверен, что это позволено любому сотруднику...

Мы побеседовали четверть часа или чуть больше с Домаром, и появился Пол Самуэльсон — быстрый, четкий, с медальным профилем лица и характерным седеющим ежиком волос. Ему было тогда 65 лет.

Само собой, поговорили две-три минуты о собаке, о погоде, еще о чем-то. Слава Богу, статьи Гершенкрона о русском переводе учебника тогда еще не было, и я мог безбоязненно говорить об этом издании. О Морже и Вальрасе я, кажется, умолчал. Домар поделился каким-то впечатлением от ИМЭМО, и я немного рассказал об институте. Самуэльсон показался мне, особенно вначале, человеком суховатым, так что разговор в основном оживлял более темпераментный Домар.

Пошли на ленч в факультетский клуб — своего рода профессорскую столовую. За ленчем разговор зашел о советской экономике. Я едва успевал собраться с мыслями, чтобы разумно отвечать на острые, жесткие, профессиональные вопросы Самуэльсона — об инвестициях, сбережениях, дефицитах, рынке и бюрократии. Хотя он знал о примитивности финансовой системы в СССР, все же удивился тому, что весь выбор советского сберегателя — между 3%-м срочным вкладом в сберегательном банке и выигрышным займом с оплатой выигрышей исходя из тех же 3% годовых.

Пожалуй, самое примечательное в этом разговоре было то, как умело он извлекал из собеседника полезную информацию в крайне ограниченное время.

Все это происходило на другой день после президентских выборов 1980 г., и мы не могли не поговорить о Рейгане. Рейган, баллотировавшийся от республиканской

партии, победил демократа Картера и вступил в свой первый четырехлетний срок. Я рассказал: хозяйка маленького отеля в Бостоне, где я жил, спросила меня, доволен ли я исходом выборов. Я честно ответил, что не очень: демократы и Картер мне как-то ближе. Тогда она с нажимом сказала: "А мы довольны!" Самуэльсон комментировал: "Да, это будет президент среднего класса. Больше, чем какой-нибудь другой". Он имел в виду американский средний класс — общественный слой, который у нас было принято называть мелкой и средней буржуазией.

В отношении ожидаемой экономической политики Рейгана и его администрации Самуэльсон был скептичен. Простая программа его советников, сторонников так называемой экономики предложения (supply-side economics), не подходила демократам, либералам, интеллектуалам, кейнсианцам, — а все это относилось к Самуэльсону. (Как ни странно, прав оказался скорее темный в экономике Рейган, а не суперэксперт Самуэльсон: 80-е годы в целом стали периодом почти непрерывного подъема. Но это другой вопрос.)

За этой беседой ленч закончился, и мы перешли в какое-то фойе, примыкавшее к обеденному залу. Там просидели еще минут двадцать или около того. Мне помнится, что Самуэльсон закурил сигару, но, вернее всего, это у меня более поздняя и ложная ассоциация.

Я сказал Самуэльсону, что в Москве он очень уважаем и что он убедится в этом сам, если приедет. Он вежливо, но твердо ответил, что не собирается. Потом, может быть, чтобы смягчить впечатление, заговорил о своем домоседстве, нелюбви к путешествиям и привел в пример великого математика Гаусса, который всю жизнь не выезжал из какого-то германского университетского городка. Я поддакнул, вспомнив Канта, который, кажется, никогда не покидал своего Кенигсберга. Вскоре после этого распрощались.

Как обычно бывает, я не уверен, правильно ли использовал те полтора или два часа, которые продолжалась встреча. Но это короткое личное общение подтвердило то, что думал и ранее: выдающийся человек...

Самуэльсон стал Нобелевским лауреатом при второй "раздаче" премий — в 1970 г. Вундеркинд, изумлявший

профессоров и соучеников в 20 лет, а в 25 написавший работу, которая считается шедевром экономической мысли XX в., оказался одним из самых молодых лауреатов по экономике. Уникально широка формулировка его заслуг в документе о присуждении премии: "За научную работу, развившую статическую и динамическую экономическую теорию и внесшую вклад в повышение общего уровня анализа в экономической науке".

Если учебник Самуэльсона, рассчитанный на первокурсников, замечательно доступен, хотя отнюдь не примитивен, то уровень его научных работ настолько высок, что на их трудность порой жалуются сами американские профессора. Автор хвалебной статьи о Самуэльсоне в словаре Палгрейва все же решился упрекнуть его в том, что он в своих теоретических экономико-математических построениях "опускает многие шаги, заставляя читателя самого заполнять" такие подразумеваемые места. Иной раз это своего рода интеллектуальная эквилибристика под куполом научного цирка. Тот же автор говорит, что сам Самуэльсон "не очень верит, что его микроэкономика может быть применима к реальному миру".

Я прочел автобиографический очерк Самуэльсона "Экономическая наука в золотой век: личные воспоминания". Какой блестящий и вместе с тем безжалостный по отношению к читателю этюд! У этого читателя предполагается не только свободная ориентация в разных областях экономической науки, не только знание особенностей американской университетской жизни, но и способность по беглым замечаниям улавливать ход гибкой мысли, способность оценивать богатство исторических и иных ассоциаций. Высший пилотаж!

Вероятно, самое заметное, что сделал Самуэльсон, — это его знаменитый неоклассический синтез. Как говорится, пусть меня поправят, но мне дело представляется следующим образом. В 30-х годах в экономической науке развился кризис, чем-то подобный кризису классической физики на рубеже XIX и XX столетий. Монополизация рынков большими фирмами и длительная неполная занятость факторов производства, казалось, подрывали принципы традиционной теории ценности и распределения, рынков и конкуренции, капитала и прибыли. Опираясь на

идеи Кейнса, Самуэльсон в 40—50-е годы вернул силу этим принципам микроэкономики, оптимистически объявив, что макроэкономические проблемы, такие, как депрессия и инфляция, в новых условиях могут быть решены средствами государственной бюджетной и монетарной (кредитно-денежной) политики. Это и есть синтез: классическая микроэкономика соединяется с новой макроэкономикой.

Василий Леонтьев *(р. 1906)*

Место Леонтьева как экономиста в пантеоне славы неоспоримо. Родившийся в Петербурге русский, получивший в 22 года степень доктора философии от Берлинского университета, стал одним из самых известных американских экономистов. В Международной энциклопедии социальных наук по значимости вклада его сравнивают с Адамом Смитом и Кейнсом. Анализ «затраты—выпуск» (межотраслевой баланс), созданный Леонтьевым в 30—40-е годы, явился одним из самых важных достижений экономической науки в XX в. Развитый далее самим Леонтьевым и многими другими учеными, он воплотил плодотворное соединение экономики, математики и вычислительной техники.

Я познакомился с Леонтьевым в 1959 г., когда он впервые приехал в СССР. Спокойный, мягкий человек сразу завоевал симпатии слушателей его лекций и собеседников. По-моему, он был очень доволен, когда его стали называть согласно русской традиции по имени и отчеству — Василий Васильевич. Это обращение, кажется, не встречается ни у одного другого народа и чрезвычайно удобно. Оно одновременно включает уважение, известную близость (но ни в коем случае не фамильярность) и некоторую, но не чрезмерную, официальность.

Приезд всемирно известного ученого, и притом русского по происхождению, был тогда большой редкостью. Начальство из Академии наук очень носилось с Леонтье-

вым, устраивало ему встречи с высшими чиновниками. Возможно, это было связано и с первым послевоенным потеплением в советско-американских отношениях. Готовилась (или уже состоялась, не помню) памятная поездка Никиты Хрущева в США. Леонтьев был живой связью между двумя нациями.

В советской экономической науке поднималась волна интереса к математическим и статистическим методам. В таких работах, как леонтьевский анализ реальной экономики, люди видели возможность некоторого освобождения от жестких идеологических догм. Леонтьев говорил по-русски, это снимало трудности и скованность беседы на чужом языке или через переводчика. Поэтому он все время был окружен толпой желающих поговорить с ним, особенно молодых людей. Я спросил его мнение о статистике денежных потоков (flow of funds), которую в то время начала публиковать Федеральная резервная система. Он сказал, что видит в этом методе большое будущее. Я и теперь так считаю и сожалею, что и через 35 лет мы в России не имеем ничего даже отдаленно похожего на эту статистику.

В 1979 г. мне пришлось представлять Леонтьева аудитории нашего института и председательствовать на его лекции. К этому времени ИМЭМО получил новое, специально построенное для него здание. (Шутники сразу стали вспоминать ядовитое высказывание популярного в СССР англичанина Норткота Паркинсона: упадок учреждения начинается с того, что для него строят специальное здание. Такова судьба Министерства колоний в Великобритании.) В нашем здании имеются два зала: приблизительно на 150 и на 600 мест. Практически всегда лекции иностранных ученых, даже самых крупных, проводятся в малом зале. Но пока мы пили с Леонтьевым кофе, мне сообщили, что зал заполнен и многие слушатели не могут найти себе стулья. Пришлось срочно вести переговоры с технической администрацией и переходить в большой зал.

Когда мы вошли и Василий Васильевич окинул взглядом ряды почти полного амфитеатра, я почувствовал в нем некоторую растерянность. Он явно не ожидал такого скопления народа. Молодые люди из нашего института развешивали привезенные им графики развития мировой

экономики, но в этом помещении они были практически бесполезны. В первых фразах лектора еще были следы этой неожиданности, но через одну-две минуты его голос окреп, а через пять минут он уже полностью владел аудиторией. На моей памяти это была, вероятно, самая успешная лекция иностранного ученого.

Лекция Леонтьева базировалась на проекте, выполненном незадолго до этого в рамках ООН большой группой под его руководством. С помощью гигантской модели "затраты—выпуск", включавшей 15 основных регионов мира, Леонтьев пытался оценить перспективы мировой экономики до 2000 г., ее потребности в основных видах сырья, потоки товаров и капиталов между развитыми и развивающимися странами. Возможно, это нащупывание путей к всемирной экономической интеграции и к всемирному планированию. Ах, если бы только нации не враждовали, политики не ссорились, правители и генералы не решали международные проблемы силой! Экономисты пытаются смотреть поверх всего этого и, вероятно, правильно делают.

К этому времени Леонтьев уже имел едва ли не полувековой опыт работы над межотраслевыми балансами. Экономика представляет собой сложную систему, в которой товары, производимые в одних отраслях, перетекают в другие. Одни потребляются окончательно, другие представляют собой промежуточные продукты, вновь используемые в производстве. Как протекают эти процессы и как обеспечивается функционирование системы?

Среди великих экономистов, которые в прошлом занимались подобными вопросами и могут считаться предшественниками Леонтьева, обычно называют Франсуа Кенэ с его Экономической таблицей, Карла Маркса с его схемами воспроизводства и Леона Вальраса с его системой общего равновесия. Леонтьев впервые дал статистическое наполнение модели межотраслевого баланса, создал методы математической обработки этого материала и применил результаты для эмпирического анализа и прогноза конкретных экономических процессов и величин. Это открыло новые горизонты экономической науки и принесло ему в 1973 г. Нобелевскую премию.

Леонтьев — классик эконометрики и новатор использования вычислительной техники для экономических расчетов. Уже в 30-х годах он был готов дать вычислителям свои системы линейных уравнений, вытекающих из шахматных (каждая отрасль с каждой отраслью) таблиц затрат и выпуска, но тогда они не располагали электронной техникой. Размерность его моделей росла по мере появления все более совершенных компьютеров. Возможно, верно и обратное: конструкторы учитывали эконометриков среди потребителей своей новой техники.

Подобно хрестоматийным изобретателям, начинающим великие дела в одиночку в гараже или сарае, Леонтьев некоторое время работал совершенно один, ведя одновременно обычные учебные курсы в Гарвардском университете. Но в 40-х годах под его руководством уже работали группы специалистов разного профиля: иначе его проекты были бы просто невыполнимы. Насколько я понимаю, это продолжается до сих пор, когда он приближается к 90-летию. Завидное творческое долголетие и завидное умение работать коллективно!

Модели Леонтьева дают иногда неожиданные результаты, привлекающие внимание экономистов-теоретиков. Это в особенности относится к так называемому парадоксу Леонтьева. Согласно теории в экспорте США должны преобладать товары, в производстве которых используется относительно много капитала (овеществленного труда, по марксистской терминологии) и относительно мало труда, а в импорте — наоборот. Леонтьев, используя свои методы, показал, что действительность не подтверждает эту теорию: США, как ни странно, экспортируют в большей мере трудоемкую продукцию, а импортируют — капиталоемкую. Авторитет Леонтьева как эконометрика настолько высок, что мало кто усомнился в его расчетах. В ходе дискуссий о причинах "парадокса Леонтьева" были выдвинуты более или менее реалистичные гипотезы, объясняющие отклонение от теории. В итоге, можно думать, экономическая наука продвинулась вперед в понимании механизма международной торговли.

Вообще развитый Леонтьевым метод оказался плодотворным и полезным для многих сфер и форм экономиче-

ского анализа. Можно не сомневаться, что возможности его применения еще будут расширяться.

В годы горбачевской перестройки Василий Леонтьев часто появлялся на страницах советской печати. В этом нет ничего удивительного: во-первых, он по происхождению русский; во-вторых, — практик и прагматик; в-третьих, ему близка идея сочетания рынка и государственного регулирования, без чего невозможны реформы.

По советской прессе стала гулять фраза Леонтьева о том, что экономику можно сравнить с яхтой, у которой надуваемые ветром паруса — это личная заинтересованность, а руль — это государственное регулирование. В СССР до перестройки ветер не надувал паруса, а в такой ситуации руль бесполезен. Тут же Леонтьев в утешение нам говорил, что американская экономика при Рейгане, да и при Буше, страдала обратным пороком, то есть плыла под парусами без руля. Так или не так, но для нас это малоутешительно.

Летом 1990 г. Шотландия отмечала 200-летие со дня смерти одного из своих великих сынов — Адама Смита, умершего в Эдинбурге 17 июля 1790 г. Народу со всех концов света съехалась тьма, но разваливающемуся социалистическому лагерю было не до чужих юбилеев. Присутствовал мой старый друг профессор Петер Таль из наполовину уже ликвидированной ГДР, а я представлял Советский Союз, которому оставалось жить один год.

Люди Запада, британцы, американцы, японцы (приходится зачислять их в это сообщество) могли с немалым удовлетворением отметить юбилей мыслителя, который верил и надеялся, что капитализм, суровую молодость которого он наблюдал, станет богаче и гуманнее. Что ж, в большой мере его надежды оправдались. В каком-то смысле можно сказать, перефразируя известное советское изречение: два века без Смита по Смитову пути. Думалось и думается: открыт ли этот путь для поздних пришельцев в Смитов мир рынка и демократии — для нас?

Не скажу, что весь Эдинбург жил юбилеем, но его устроители и городские власти сделали все возможное, чтобы он стал заметным событием. Они задались честолюбивой целью — собрать возможно более многочисленную группу лауреатов Нобелевской премии по экономике. И они пре-

успели в этом: съехалось 8 человек. Трибуна была доступна только им, и каждый выступал с докладом, увязывая наследие Смита с разными современными проблемами. Конференция проходила в городском театре Эдинбурга в присутствии нескольких сотен слушателей. Это была не лучшая идея: всерьез читать и слушать научные доклады в такой аудитории невозможно, люди быстро устали и стали расходиться по буфетам. Другие мероприятия этих дней включали торжественный обед в мэрии, посещение могилы Смита, несколько приемов. Самому младшему "нобелисту" было под 70, а Леонтьеву тогда стукнуло 84. Но он был чрезвычайно оживлен, общителен и активен. В своем докладе он порицал современную западную науку за чрезмерную абстрактность ее методов и моделей и призывал ученых, следуя духу Смита и его знаменитой книги о богатстве народов, всегда видеть эмпирическую и практическую сторону их построений.

Может быть, там были тонкости, которые я не уловил, но сама идея о преимуществе эмпирической, опирающейся на наблюдение и измерение, экономической науки перед чистой теорией — это старая идея Леонтьева. Он писал об этом еще в незапамятные 30-е годы. Разумеется, тогда это никак не связывалось с Адамом Смитом.

Череда докладов, встреч и банкетов была все же утомительна для Леонтьева. Он и его жена не поехали на экскурсию в родной город Смита Керколди и на продолжение юбилейных мероприятий в Глазго. Но три или четыре лауреата все же были в автобусе, в том числе милейший и умнейший Морис Алле, единственный француз, получивший (в 1988 г.) премию. К сожалению, наше тогдашнее беглое знакомство не имело продолжения. Да и не глупо ли коллекционировать знакомства с лауреатами?

Что до Василия Васильевича, то я увидел его вновь через два года в Гронингене (Нидерланды), куда съехалось человек двести экономистов на конференцию Европейской ассоциации сравнительных экономических исследований, занимающейся проблемами Восточной Европы и ее отношений с Западом. На дворе стоял теплый сентябрь 1992 г.

Леонтьев выполнял функцию "ки спикера" (ключевого оратора), который призван, так сказать, задать тон кон-

ференции. С этой ролью старик справился отлично, еще раз блеснув умом, юмором и трезвостью суждений. Мне удалось провести с ним часа полтора за содержательным разговором.

Он сказал, что не в состоянии следить за всеми аспектами бурных событий в России, других бывших частях СССР и в Восточной Европе, но что ситуация его глубоко волнует и тревожит. Представляют ли себе люди, стоящие у власти в Москве, Киеве, Праге, Варшаве, какое именно общество и какую экономическую систему они хотят "построить"? Порой кажется, что они хотят капитализма, которого уже нет на Западе. Но и там часто нет правильного понимания ситуации в России. Американские экономисты склонны считать, что речь идет о довольно стандартной макроэкономической задаче, рецепты решения которой можно найти в учебниках. Конечно, в экономических проблемах разных стран есть немало общего. Но переворот, который происходит в России, органически связан со всей ее историей, с особенностями развития общества. Речь идет не только об изменениях в экономике, но и об огромном политическом, социальном и культурном перевороте.

Словарь Палгрейва во избежание недоразумений бегло сообщает, что Леонтьев является американским гражданином. Он прожил в США более 60 лет. Я думаю, мы должны быть где-то благодарны Америке за то, что она дала приют и обеспечила условия для расцвета таланта русского человека. Я не могу сказать, в какой мере Василий Васильевич чувствует свою "русскость", есть ли у него ностальгия и тяга к России. Но остается фактом, что он был первым экономистом с мировым именем, приехавшим в 50-е годы в СССР. Факт, что он совершенно свободно говорит по-русски, что он, несмотря на годы, часто приезжает к нам, что он живо интересуется ходом событий в России. Между прочим, единственную дочь супругов Леонтьевых зовут Светлана.

Древние римляне говорили: где хорошо, там и родина. Мне думается, подчеркнутый цинизм этого изречения указывает на то, что его приписывали не самым лучшим людям. Настоящий римлянин в глубине души не был согласен с ним.

Летом 1993 г. Леонтьев приезжал в город, где он родился, — в Петербург и участвовал в основании Леонтьевского фонда — учреждения, призванного содействовать российской экономической науке. Мы пожали друг другу руки. Даст Бог, еще приедет.

Лоренс Р. Клейн
(р. 1920)

Американец Клейн получил Нобелевскую премию в 1980 г., когда ему минуло 60 лет. Для лауреатов по экономике это немного.

Среди широкой публики в Америке, не говоря уже о России, имя Клейна не так хорошо известно, как, скажем, Гэлбрейта и Леонтьева. Клейн — не публицист, не политик и не оратор, это тип кабинетного, "лабораторного" ученого. Пожалуй, из всех ученых, о которых я здесь пишу, он внешне больше всего напоминает Саймона Кузнеца: немного медлительная, раздумчивая манера разговора, подчеркнуто негромкий, чуть "скрипучий" голос, постоянная невозмутимость. Кажется, ни в одном рабочем кабинете я не видел такого количества книг, как у него в модернистском, галерейно-купольном корпусе Макнейла, где помещается экономический факультет Пенсильванского университета в Филадельфии.

Характерно отношение советской официальной науки к Клейну. Во втором томе издания "Экономическая энциклопедия. Политическая экономия", вышедшем в 1975 г., где находится буква "К", для Клейна не нашлось места, хотя его основополагающей работе (с Голдбергером) "Экономическая модель Соединенных Штатов, 1929—1952" было тогда уже 20 лет. Но в четвертом томе (1980 г.) в статье "Эконометрия" справедливо сказано, что в 50-х годах Клейн стал одним из создателей эконометрических корреляционных многофакторных моделей, включающих основные макроэкономические величины. Справедливости ради надо отметить, что это напечатано еще до Нобелевской премии.

Энтузиаст и классик эконометрии (эконометрики), Клейн разрабатывает модели, которые позволяют на основе выявленных в прошлом развитии экономики количественных зависимостей разрабатывать сценарии и прогнозы будущего развития, определять вероятные последствия мер экономической политики. Предположим, правительство обсуждает вопрос, что будет с экономикой, если повысить ставки подоходного налога на 20%. Эксперты закладывают это в модель и с помощью компьютера "выдают" ответ: валовой национальный продукт снизится на 0,5%. Зато, скажем, темп инфляции упадет с 4 до 3% в год. Политики, выбирайте.

Конечно, никакая модель не может учесть все факторы, все варианты и непредвиденные эффекты. Поэтому не следует полагаться только на модель. Но она может быть важным ориентиром.

Клейн много работал над тем, чтобы сделать эконометрические модели не просто своего рода интеллектуальными упражнениями высокого класса, а практически применимыми орудиями прогнозирования и планирования (конечно, не в бюрократическом госплановском смысле этого слова). Его коллега по Пенсильванскому университету профессор Джералд Адамс справедливо писал, что, "хотя Клейн не был первым, кто строил модели, он был первым, кто превратил их в полезные инструменты". Это немалая заслуга.

Говорят, Клейн в молодые годы был радикалом и проявлял интерес и симпатии к марксизму. Это в какой-то степени проявилось в его ранней и свежей по мыслям книге "Кейнсианская революция" (1947 г.) В этом не было ничего необычного. Тенденция к интеллектуальной независимости, к нонконформизму, характерная для американских университетов, порождает оппозицию "официальной" буржуазно-консервативной идеологии, и марксизм оказывается самой естественной формой такой оппозиции. Даже в конце 70-х годов, когда популярность марксизма явно упала по сравнению с 40-ми годами, мой друг профессор Джон Летиш из Калифорнийского университета в Беркли говорил мне, что на экономическом факультете до 30% студентов считают себя "марксистами". Правда, это один из самых "левых" университетов в

Америке. Но там-то, кстати, и учился Клейн. Я не настолько близок с ним, чтобы расспрашивать о его политических взглядах в молодости. Но биографический словарь лауреатов Нобелевских премий бесстрастно сообщает, что в 1946—1947 гг. Лоренс Клейн был членом коммунистической партии США и пострадал за это в годы маккартизма. Ему было отказано в штатной профессорской должности в Мичиганском университете, хотя он был уже признанным авторитетом в ряде областей экономической науки. Если это доставит вам удовлетворение, отметьте, что гонения на ученых по идеологическим мотивам случались не только в СССР, но и в веротерпимой Америке. Впрочем, им далеко до наших масштабов. То, что произошло при разгроме биологической науки в 1948 г. и в ходе борьбы против космополитизма в общественных науках в последующие годы, было бы там невозможно.

Конечно, Клейн и теперь отнюдь не консерватор, но, вероятно, углубление в математику, статистику и эконометрику освободило его от многих иллюзий и крайностей молодых лет.

Личность и труды Лоренса Клейна позволяют мне сказать несколько слов об этом типе американцев с их поразительной добросовестностью, преданностью избранному делу, трудоспособностью. Недавно в Москве провела месяц наша семейная знакомая Присцилла Рузвельт, которая является видным американским специалистом по русской культуре, автором книги об историке и философе XIX в. Грановском и многих интересных статей. Кстати сказать, она дочь профессора Ллойда Рейнолдса, которого я упоминаю в следующем очерке о Канторовиче. Тема ее научной работы — культура русской усадьбы XVIII—XIX вв. Присцилла получила на эту работу и поездку в Россию грант от какого-то фонда. Каждый день, включая субботу и воскресенье, в дождь и снег, она моталась по нашим ужасным дорогам, осматривая и фотографируя полуразвалившиеся усадьбы. Специально нанятый водитель изумлялся ее энергии и выносливости и позволял себе роптать, несмотря на неплохой заработок.

Тут я вспомнил профессора Клейна в Москве в 1974, не то в 1975 г. Прошел день заседаний советско-американского экономического симпозиума. Потом был обильный

обед с возлияниями. Время — часов одиннадцать вечера. Мы сидим втроем (Клейн, мой коллега Валентин Кудров и я) в комнате Клейна в роскошной гостинице "Советская" со справочником "Народное хозяйство СССР" и обсуждаем какие-то статистические ряды, нужные американцу для модели экономики СССР, которую он тогда разрабатывал. Клейн на другой день уезжает и использует каждую свободную минуту, чтобы пополнить свой научный багаж. Голова трещит, невыносимо хочется спать, а Клейн готов, кажется, сидеть до утра над этим справочником, который в годы перестройки специалисты объявят фактически фальшивкой. Едва ли мы разошлись тогда раньше полуночи...

Кстати, недоброкачественность исходного статистического материала — это гибель для эконометрических моделей. Как можно использовать модель, если в исторических данных, положенных в ее основу, темп экономического роста завышался в два или в три раза?

Клейн известен как руководитель двух огромных проектов, в которых были заняты целые коллективы специалистов и которые стали возможны лишь благодаря мощному развитию компьютерной техники. Это так называемая Уортонская модель экономики США и международный проект "Линк".

Первая, названная по Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета, была прообразом ряда крупноразмерных моделей, разработанных в США и используемых для аналитических и прогнозных целей. О размерах этой модели говорит тот факт, что она содержит около тысячи уравнений — количественных зависимостей между экономическими переменными.

Проект "Линк", который разрабатывался под эгидой ООН, ставил своей целью создание моделей для ряда стран, играющих существенную роль в мировой экономике, совмещение этих моделей и объединение их в единую систему. Может быть, когда-нибудь такие работы откроют перед человечеством возможности разумного регулирования всей мировой экономики.

Сейчас я заново просмотрел дареную книгу Юрия Чижова "Модель экономики США" (1977 г.) и увидел, что автор выражает Клейну благодарность за советы и замеча-

ния. К сожалению, расспросить Чижова о его общении с Клейном невозможно: этот талантливый человек умер молодым несколько лет назад. Во всяком случае, мне известно, что Клейн интересовался работами Чижова и его руководителя профессора Станислава Меньшикова. Эти работы шли в том же направлении, что и новаторские модели американского ученого.

Когда при моем косвенном участии Клейна пригласили в 1993 г. в члены наблюдательного совета петербургской "Экономической школы", он охотно согласился. Таким образом, его связи с Россией продолжаются.

Памятная мне встреча с Клейном произошла в Нью-Йорке в феврале 1983 г. Университет ООН (есть такое учреждение со штаб-квартирой в Токио) собрал заседание своего рода "клуба экономических мудрецов" для обсуждения путей выхода из экономического спада, в котором находилась мировая экономика, особенно развивающиеся страны. Компания собралась пестрая: бывший премьер-министр Филиппин и бывший председатель Национального банка Нигерии, директора аналогичных ИМЭМО институтов в Швеции и Венгрии, видный финансист с Уолл-стрита и профессор Лоренс Клейн. И еще человек пятнадцать. Совещание открыл генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр, но, посидев часок, исчез и больше не появлялся.

Попал я на это совещание более или менее случайно. Меня спешно подключили как запасного игрока, когда почему-то отказался ехать Джермен Гвишиани, член-корреспондент (хотя и вовсе не экономист), зять Косыгина и в то время весьма влиятельный человек.

Клейн играл здесь роль безусловного интеллектуального лидера. Естественно, говорили кто в лес, кто по дрова, и председателя обычно выручал Клейн с его строгой логикой и точностью суждений.

Он рекомендовал не паниковать и не выдумывать нереалистичных рецептов спасения мировой экономики и разрешения долгового кризиса развивающихся стран. Экономика США, сказал Клейн, безусловно, прошла низшую точку спада, в Западной Европе и Японии дело идет к оживлению. В этих условиях развивающиеся страны, которые сохранят внутреннюю стабильность, смогут вос-

пользоваться мировым экономическим подъемом для облегчения своего положения.

Этот прогноз в основном оправдался. США вступили в эру рейгановского процветания при весьма умеренной инфляции. Проблема долгов, конечно, осталась, но она не привела к крушению финансовых рынков, как многие опасались в 1982—1983 гг.

Все это происходило через три месяца после смерти Брежнева, в начале генерального секретарства Андропова, когда никто не думал, что оно будет столь коротким. Клейн расспрашивал меня о новом советском руководстве. Говоря с ним с глазу на глаз, я не опасался ушей соотечественников (а советский командированный всегда помнил об этом!), но, честно говоря, ничего существенного я ему рассказать не мог. Тайны кремлевского двора еще были скрыты за семью печатями. О личности Андропова мне, кроме скудных официальных данных, почти ничего не было известно. Возможно, я слегка разочаровал Клейна.

Еще одна ниточка неизменно связывала меня с Клейном — Адам Смит и смитоведение. Кроме ранней книги о Кейнсе, он, насколько мне известно, специально не занимался историей мысли, но о Смите говорил охотно и умно. Хорошо помню, как за обедом в Москве в 1976 г. (в этом году как раз отмечалось 200-летие главной книги Смита о богатстве народов) мы пол-обеда, так сказать, уделили Смиту. Я должен сознаться, что говорить на эту тему мне было и легче и приятнее, чем об эконометрических моделях. За этим обедом была и миссис Клейн, для которой Смит был тоже более подходящей темой.

Так получилось, что Адам Смит свел нас в 1990 г., когда в столице Шотландии Эдинбурге, где жил и умер Смит, торжественно и грустно отмечали 200-ю годовщину его смерти. Я рассказал об этом подробнее в очерке о Леонтьеве. Присутствующих "нобелистов" беспрестанно снимали фотографы. На снимках Клейн — скромно во втором ряду или где-нибудь сбоку. Это человек, который не любит высовываться.

Леонид Витальевич Канторович (1912—1986)

Этот талантливый математик, увлекшийся экономическими проблемами, был и остается единственным советским (российским) лауреатом Нобелевской премии по экономике.

Канторович разработал линейное программирование — красивый и перспективный способ решения экономических задач, в которых ищется оптимум, обычно — оптимальный способ комбинации и использования ограниченных ресурсов. Начал он с конкретной задачи о наилучшем способе раскроя фанеры, но очень скоро увидел широкий спектр применений открытого им метода. Его новаторская работа по линейному программированию была опубликована в 1939 г., но прошла незамеченной. Лишь после того, как линейное программирование было независимо от Канторовича развито американцами, особенно разделившим с ним премию Тьяллингом Купмансом, мы стали настаивать на приоритете ленинградского математика, который с начала 60-х годов работал во вновь созданном Сибирском отделении Академии наук и Новосибирском университете.

Канторович стал в известном смысле лидером новой школы в советской экономической науке 60—80-х годов. Можно по-разному оценивать ее достижения и промахи. Можно даже горько иронизировать по поводу неспособности ученых хоть что-то сделать для преодоления экономического кризиса 90-х годов. Но все же фактом остается то, что только труды этой школы позволяют нам надеяться на воссоединение с мировой наукой.

Канторовичу, его коллегам и ученикам было нелегко работать. С одной стороны, они вынуждены были отдавать хотя бы словесную дань почтения марксизму-ленинизму и отбиваться от нападок консерваторов. С другой стороны, чтобы привлечь интерес и поддержку руководства партии и страны, они обещали слишком много — подведение научной базы под социалистическое планирова-

ние и плановое ценообразование. Первое отвлекало силы и стесняло научный поиск. Второе подрывало престиж науки, поскольку она, в сущности, ставила перед собой a priori невыполнимую задачу.

Что мы имеем, как говорится, в сухом остатке?

Экономическая наука в России уже не может вернуться к тому бесконечному словоблудию, которое десятилетиями выдавалось за науку. Мне помнится, как лет тридцать пять назад покойный академик К. В. Островитянов, генерал советской политэкономии, писал, что принцип ограниченности ресурсов — буржуазная выдумка, что ресурсы социалистической экономики СССР принципиально неограниченны. Кто теперь всерьез примет такое?

Заслуга Канторовича в том, что своим линейным программированием и всей совокупностью своих работ он содействовал повороту в экономической науке. В центр экономической науки была поставлена бесконечно сложная, но реальная и важная задача — формулирование и поиск оптимума при налагаемых природой и обществом ограничениях.

Что касается макроэкономического планирования, то, мне думается, Канторович еще в дискуссии 1964 г., используя термины кибернетики, очень точно изложил правильный исходный принцип. В сложной системе, какой является национальная экономика, необходимо сочетание централизованного начала, "определяющего основные контуры и направления развития системы", с саморегулированием, обеспечивающим эффективные обратные связи. Он не сказал слово "рынок" — вероятно, потому, что оно было в то время табу. Но совершенно ясно, что именно это он имел в виду, говоря о саморегулировании и обратных связях.

Поворот в экономической науке происходил под знаменем математики. Сам Канторович начинал с карьеры математического вундеркинда, в 18 лет окончившего университет и в 22 года ставшего профессором. Переходя к экономическим проблемам, он следовал путем ряда талантливых ученых XIX и XX столетий. Первым из них надо, вероятно, назвать француза А. Курно (1801—1877), который стал одним из прародителей современной экономической науки.

До второй половины 50-х годов советская официальная экономическая теория не признавала математику. Считалось, что она притупляет социальное острие марксистского анализа. Это было очень удобно для ученых-экономистов: не надо было тратить годы на изучение математики и ее экономических приложений, а было достаточно знать "Капитал" Карла Маркса и даже только его облегченные переложения, чтобы получать ученые степени и должности. Наука сохраняла название "политическая экономия", как во времена Рикардо и Маркса, и всячески отмежевывалась от буржуазной экономической науки, которую с оттенком презрения называли "экономикс" — по англоязычному названию.

В период хрущевской оттепели адепты "классовой науки" вынуждены были потесниться. Было признано, что математика может быть полезна для исследования многих экономических процессов. Особенно успешно внедрялись методы линейного программирования и леонтьевского анализа "затраты—выпуск", поскольку они обещали улучшение централизованного планирования использования ресурсов. Экономисты, никогда не изучавшие или давно забывшие математику, кинулись овладевать ею. (Я относился ко второй категории: когда-то сдал экзамены по курсу высшей школы, но за 15—20 лет почти все забыл.)

Видные экономисты-математики, ранее допускавшиеся лишь на обочину экономической науки, стали уважаемыми учеными. В 1965 г. Канторович получил Ленинскую премию — высшую награду за научную деятельность.

Впрочем, все это в значительной мере прошло мимо официальной политической экономии, как она преподается и изучается. Отсюда нынешняя странная структура науки и преподавания. В Академии наук есть Институт экономики и Центральный экономико-математический институт, на экономическом факультете Московского университета — кафедра политической экономии и кафедра математических методов анализа экономики. Все это по отдельности. Экономисты в России делятся на математизированных и нематематизированных. В обеих "сектах" есть экстремисты, презирающие друг друга, но есть,

особенно в последнее время, люди, стремящиеся к примирению и интеграции.

В 1959 г. был опубликован фундаментальный труд Канторовича "Экономический расчет наилучшего использования ресурсов", в котором изложены основы линейного программирования и развиты идеи приложения его методов к проблемам народного хозяйства.

В 60-х и 70-х годах признание Канторовича на Западе постепенно утверждалось. Этому способствовали его молодые друзья и последователи, особенно Абел Аганбегян. Он говорил мне, что, будучи одним из нобелевских номинаторов (ученых, предлагающих кандидатуры), он систематически называл Канторовича. В 1975 г. свершилось.

Вскоре после этого я познакомился с Канторовичем. Благоговейный трепет, который я испытывал перед математиком высшего класса, быстро рассеялся: Канторович оказался живым и интересным человеком, хорошо понимающим юмор. Он отлично чувствовал себя в кругу значительно более молодых людей, особенно интересных женщин.

Летом 1981 г. советские и американские экономисты обсуждали в Алма-Ате проблемы ценообразования в обеих экономиках. Такие ежегодные встречи под руководством профессора Ллойда Рейнолдса из Йельского университета и академика Тиграна Хачатурова из Московского университета проводились в США и СССР попеременно. Они выгодно отличались от других программ научных обменов, в которых мне приходилось участвовать: собирались не случайные люди, а академические экономисты, представлялись письменные доклады, шли серьезные дискуссии, издавались материалы.

Рейнолдс и Хачатуров на удивление удачно подходили друг другу. Вдвоем эти два весьма пожилых человека разумно и благожелательно управляли заседаниями. Для времен холодной войны дружелюбность этих встреч была особенно примечательной.

Канторович не был регулярным участником "программы Рейнолдс—Хачатуров" и, если я не ошибаюсь, не участвовал ни в предыдущих, ни в последующих встречах. Его присутствие было важно для организаторов, оно поднимало престиж алма-атинского симпозиума и всей программы.

Дело было не только в его научных заслугах и профессиональных знаниях, но и в его личности. Он вносил оживление в довольно утомительную процедуру докладов и выступлений и очень понравился американцам.

Симпозиум закончился обильным и веселым обедом. Никаких ограничений на алкоголь тогда не было, и вино, как говорится, лилось рекой. Оно развязало языки и освободило от скованности. Русские и американцы поднимали тосты, соревнуясь в остроумии и дружелюбии.

Тут со мной произошел казус, который на пару дней испортил мне настроение. Он сложился из некоторой начитанности, с одной стороны, и небольшого опьянения, которое помешало подобрать точные слова, — с другой. Я решил поднять тост за Америку, но при этом украсить его литературными ассоциациями.

У поэта Алексея Константиновича Толстого есть замечательная сатирическая поэма "Сон Попова", в которой некий русский государственный деятель 70-х годов прошлого века, ксенофоб и консерватор, произносит речь об особом пути России и непригодности для нее западных образцов. (Эти идеи необычайно живучи и в последнее время играют очень заметную роль в политической ситуации в России.) Поругав Британию за ее излишнюю приверженность законности (отечественное беззаконие лучше заморской законности!), этот оратор говорит:

Искать себе не будем идеала,
Ни основных общественных начал
В Америке. Америка отстала,
Там собственность царит и капитал.

Это, конечно, забавная пародия, не потерявшая остроты и теперь.

Я процитировал стихотворные строки и перевел их на английский. Но при этом от слушателей ускользнуло, что Толстой издевается здесь над тупой и гибельной верой в то, что Россия выше Америки именно потому, что права собственности в ней не защищены, а капитал не пользуется уважением.

Меня одинаково не поняли и русские, и американцы — значит, действительно, плохо говорил. Получилось, что я выразил собственное отношение к Америке и ругал

ее за то, что там царят собственность и капитал. Это, конечно, было неуместно и просто глупо. Короче, я провалился со своим "интеллектуальным" тостом.

Канторович подошел ко мне, укоризненно покачал головой и... стал утешать: мол, со всяким может случиться неудача. На другой день мы имели с ним долгий мирный разговор, я ему все объяснил, но, как говорят в России: слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.

Престиж советских экономистов на Западе очень низок. Изданный в 1986 г. в США справочник "Кто есть кто в экономической науке", содержащий биографии и научные характеристики нескольких сотен экономистов, дает информацию об *одном* ныне здравствующем советском экономисте. Это Валерий Макаров, кстати сказать, ученик Канторовича. В настоящее время Макаров — директор Центрального экономико-математического института.

Нет ли здесь дискриминации? Вероятно, есть: сказывается оторванность советской науки от мирового процесса, языковой барьер... Но лучше не обижаться, а признать, что уровень экономической науки в СССР и России действительно невысок, что у нас в ближайшие годы нет шансов иметь новых Нобелевских лауреатов. До недавнего времени мысль была заключена в жесткие идеологические шоры. Это сказывается и теперь, хотя прямой цензуры научных исследований нет. Кроме того, в нынешних сложных условиях практически все дельные экономисты занимаются острыми текущими проблемами, на фундаментальные исследования и толстые книги времени у них не хватает. Как и вся российская наука, экономика жестоко страдает от недостаточного финансирования.

Алек Ноув
(1915—1994)

Не помню точно, в 1967 или 1968 г. я зашел однажды пообедать в Дом ученых на Кропоткинской. Это, конечно, не ресторан в "Доме Грибоедова", так сочно описанный у Булгакова, но скромное к нему приближение. Да и сам

Дом ученых с лабиринтом гостиных, коридоров, лестниц и "офисов" слегка напоминает МАССОЛИТ с его "рыбно-дачной секцией" и извещениями кружков.

Я сидел за столиком один, когда подошли два немолодых господина, одного из которых я знал в лицо: это был Альберт Львович Вайнштейн, легендарно известный старый экономист и статистик, многолетний узник ГУЛАГа. Он был, как обычно, вооружен слуховым аппаратом, и, вероятно, поэтому его спутник говорил громко, невольно привлекая внимание всего небольшого зала. Хотя говорил он по-русски и ничем особенно не выделялся, я, опять-таки подобно героям "Мастера и Маргариты", немедленно признал в нем иностранца.

Вайнштейн спросил, свободны ли места, и они сели за мой столик. Я невольно слушал разговор и через несколько минут по каким-то косвенным признакам догадался, что иностранец — это британский профессор Алек Ноув, один из самых известных экономистов-советологов.

Между тем я не только знал его заочно, но и испытывал к нему чувство признательности. Несколькими годами ранее Ноув опубликовал в чрезвычайно солидном английском журнале "Экономика" благожелательную рецензию на мою книжку "Валютные проблемы Западной Европы" (1960 г.). Помню, при поездках за границу в начале 60-х годов я таскал номер этого журнала с собой (ксерокса, кажется, еще не было) и показывал иной раз как своего рода визитную карточку. Хотя советологи, по определению, считались врагами, "вражеские" похвалы Ноува в эти годы уже не пугали. Пресловутый принцип марксистов — "если тебя хвалят враги, подумай, в чем ты ошибся" — уже не воспринимался всерьез.

Выждав некоторое время, я вмешался в разговор и представился. Так состоялось мое знакомство с Алеком Ноувом (и, конечно, с Вайнштейном, который умер в 1970 г.).

Ноув был чрезвычайно динамичный, энергичный, стремительный человек. О чем бы он ни говорил — от обеденных блюд до экономической мысли, во все он вкладывал темперамент и страсть. Иногда казалось, избыток того и другого. Его, как говорится, "несло", если он рассказывал о чем-либо. Он украшал рассказ забавными деталями,

заразительно смеялся собственным шуткам и буквально заставлял собеседников участвовать в его маленьких представлениях.

Мне думается, его страстью были путешествия и общение с людьми. В мире экономики и советологии он знал всех и его знали все — и на Западе, и на Востоке (в бывшем СССР и Восточной Европе).

Ноув не был яростным антикоммунистом и был склонен рассматривать развитие советской системы как объективный исторический процесс, в ходе которого он старался найти какие-то положительные тенденции. Он искренне радовался возрождению экономической науки в СССР и был склонен, по своей увлекающейся природе, преувеличивать ее достижения. Одна из важных линий его деятельности состояла в том, что он упорно старался ознакомить Запад с русской и советской экономической мыслью. В 60-х годах он выступил редактором сборника переведенных на английский язык статей советских авторов под заглавием "Использование математики в экономике". Сейчас я перечитал его большую статью "Советские экономисты и советская экономика" (1981 г.). Из нее мы, привыкшие к изрядному скептицизму в отношении собственных успехов, с некоторым даже удивлением узнаем об "оригинальных и смелых идеях, выдвинутых советскими экономистами за последнее десятилетие или около того". Речь идет об оптимальном ценообразовании, о децентрализации экономических решений, о региональной экономике и многом другом. Ноув был высокого мнения о новосибирской школе, о трудах Центрального экономико-математического института. Он предсказывал выдвижение Абела Аганбегяна, Николая Петракова, Станислава Шаталина. В горбачевские годы это действительно произошло, хотя, впрочем, не порадовало нас успехами в экономических реформах. Но их ли в том вина?

Описанное случайное знакомство произошло во время первого приезда Алека Ноува в СССР. Он рвался сюда лет десять, но ему упорно отказывали в визе без объяснения причин. Такие неприятности были частью специфической профессии советологов. Профессор Маршалл Голдман из Русского центра Гарвардского университета после нескольких поездок вдруг стал "невъездным". Он

считал, что КГБ недоволен его контактами с неофициальными еврейскими организациями. Через несколько лет его почему-то "простили" и снова стали впускать.

Впрочем, до восьмилетнего возраста Ноув был гражданином России, РСФСР и СССР и назывался Саша Новаковский. Его отец Яков Новаковский был старый социал-демократ, но оставался до конца меньшевиком, за что в начале 20-х годов был выслан в какую-то глушь. Однако сравнительно либеральные порядки первых лет советской власти позволили ему вскоре уехать с семьей за границу. Они сразу осели в Великобритании. Мне неловко было спросить Алека, когда и при каких обстоятельствах Яков или он сам укоротил и англизировал свою фамилию.

Алек Ноув был человеком двух языков и двух культур. Его русский язык был безукоризненным, хотя иногда какие-то интонации выдавали человека, годами оторванного от нашей живой языковой стихии. Приятно было и то, что он глубоко интересовался русской культурой и историей, стремился быть более или менее в курсе новинок литературы на русском языке.

Как литератор, пишущий на английском языке, он из числа фигурирующих в моей книге лиц уступал, может быть, лишь Гэлбрейту. Читать его нетрудно и, как правило, интересно. Его книга "Экономическая история СССР", впервые опубликованная в 1969 г., несколько раз переиздавалась массовыми тиражами. Почитать ее полезно не только западному человеку, но и россиянину. К сожалению, у российских издателей руки до этой книги не дошли.

Алек Ноув был ветеран второй мировой войны. Я хорошо помню его рассказ о военной катастрофе 1940 г. во Франции и трагической эвакуации английского экспедиционного корпуса из Дюнкерка, осажденного немцами. Он был там. После этого Ноув служил в армейской разведке и кончил войну майором.

Мне думается, это был физически очень крепкий человек. Не знаю, как он поддерживал форму, но хорошо помню, как на одном из мероприятий по случаю 200-летия со дня смерти Адама Смита в Глазго (1990 г.) он появился жарким июльским днем в каком-то очень свободном летнем костюме, в цветной рубашке, открывавшей грудь с обильной седеющей порослью. Бросался в глаза

свежий загар на лице, как всегда живом, подвижном, ироничном. Тогда ему шел 75-й год.

Как иные крепкие старики, он казался вечным. Правда, когда я сказал об этом одному общему другу в Лондоне, тот под некоторым секретом поведал мне, что у Алека неважно с сердцем, что он обследовался в клинике. Несмотря на это, он нисколько не менял образ жизни, летал по всему свету, читал лекции, участвовал в конференциях и симпозиумах. В последние годы он, как правило, один-два раза в год приезжал в СССР, в Россию, на Украину.

За несколько дней до смерти Ноув был в Санкт-Петербурге, где его связывала новая дружба с энтузиастами, выпускающими журнал "Экономическая школа". Для них он был Александром Яковлевичем; когда я впервые это услышал, то сначала не понял, о ком идет речь. Из Петербурга он уехал с женой в Стокгольм получать очередную почетную докторскую степень и там скончался. Можно повторить чье-то изречение в жанре черного юмора: "Умер, как и жил: скоропостижно".

Ноув прожил в Шотландии более 30 лет. Он был многолетним директором Института советских и восточно-европейских исследований Глазговского университета. При нем институт превратился в один из самых авторитетных в мире научных центров такого рода. Как заметил первооткрыватель пенициллина шотландец Александр Флеминг, "шотландцы не англичане, отнюдь". Алек Ноув сумел в какой-то мере стать не только британцем, но и шотландцем, он привязался к этой прекрасной стране (или скажем, упаси Бог, осторожнее: к этой части Великобритании) и гордился своей новой родиной. Соединяя в себе эти разные культурные традиции, он был, в сущности, космополитом в лучшем смысле этого неоднозначного слова.

Шотландия и Глазго заставляют меня сказать еще два слова об Адаме Смите, которому я отдал в разные периоды моей жизни много времени и сил. Для экономистов Глазго — священное место, ибо здесь был профессором отец их науки. Правда, старых зданий университета, где преподавал и жил Смит, давно нет: их снесли еще в середине XIX в., когда меньше заботились об историческом наследии. Все же сердце у меня слегка дрогнуло, когда я вошел в здание Глазговского университета.

Работа над Смитом и двукратное пребывание в Шотландии дали мне несколько друзей-шотландцев, не столь значительных, как Алек Ноув, но людей интересных и приятных. Хорошо помню, как в 1980 г. один из них повез меня в родной город Смита Керколди и повел в местный музей. Первое, что я увидел в небольшом зале, специально посвященном Смиту, была хорошо знакомая обложка моей книги о нем. Должен сознаться, это был приятный момент.

Конечно, ни в каком буквальном смысле Ноув не был продолжателем или наследником Адама Смита. Но богатством своей личности он был, осмелюсь сказать, достоин памяти великого шотландца.

Теплым летним вечером 1990 г. после хорошего ужина в ресторанчике Ноув, моя жена и я дошли пешком до его дома в старом и приятном районе Глазго и познакомились с его женой Ириной. Они жили в добротном городском доме, как видно, традиционном для Шотландии. Дом был в трех уровнях: кухня и подсобные помещения на уровне земли или чуть ниже, главный (гостевой) этаж и, наконец, спальни наверху. Этажи соединялись достаточно крутыми и высокими лестницами. Я вспомнил супружескую чету знакомых американцев, которые сознательно купили себе под старость одноуровневый, растянутый по плоскости дом, и спросил Алека и Ирину, не затрудняют ли их эти лестницы: путь из кухни в спальню был, я думаю, равноценен подъему на четвертый этаж нашего дома массовой застройки. Мне показалось, что Алеку вопрос как-то не понравился, и он коротко сказал: "Нет!"

В 1990—1993 гг. мы встречались с Ноувом довольно часто, так как "дуэтом" выступали консультантами по советским и российским делам большого международного инвестиционного банка "Морган, Стэнли энд компани". Главная штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, но в Лондоне действует европейский филиал, с которым мы в основном и имели дело. Мы проводили беседы с сотрудниками и клиентами банка, а также с журналистами, которые набирали материал для создания его имиджа. Порой это была нелегкая работа, особенно ответы на вопросы.

В каком-то смысле мы с Алеком были конкурентами, но я ни разу не почувствовал с его стороны даже намека на ревность или недоброжелательство. Кроме всего, он был

прекрасный оратор — эмоциональный, яркий, находчивый. Я неизбежно проигрывал рядом с ним, но у меня было одно преимущество, хоть и не зависящее от моих способностей: все же я был из Москвы, а он из Глазго. Мне было достаточно того, что я мог дополнить его соображения взглядом "изнутри", из России.

Алек Ноув не был, конечно, кандидатом на Нобелевскую премию. Хотя он владел современными инструментами экономического анализа и умело применял их к советским реальностям, он не оставил работ, в которых бы развивалась экономическая теория в целом. Но мало кто мог сравниться с ним по глубине понимания экономических проблем советского социализма и перехода к рынку.

Я полагаю, по своим глубинным взглядам он, как и его отец, был социал-демократом. Его беспокоили очевидные социальные последствия наших рыночных реформ с их криминально-бюрократическими уродствами: образование новых классов богачей и бедняков, упадок сферы общественных услуг, рост открытой и скрытой безработицы. Помню, при одной из последних встреч в 1993 г. мы говорили о противоестественной структуре внешней торговли новой России: экспорт — почти целиком нефть и газ, импорт — одни потребительские товары, да еще сомнительного качества. Алека поражало стремительное заполнение улиц Москвы так называемыми иномарками. Он заметил: в первые послевоенные годы импорт американских автомобилей в Великобританию и некоторые другие страны Западной Европы был практически под запретом. Нынешняя разруха в России сравнима с послевоенной. Так правильно ли поступает правительство, когда оно блюдет букву свободы торговли, но подрывает и отечественную промышленность, и социальную мораль?

Николай Николаевич Любимов *(1894—1975)*

Из юных лет выплывает смутное воспоминание. Старое Зарядье в Москве, еще нет в помине гигантской гостини-

цы "Россия", лабиринт узких и кривых улиц... Общежитие, которое могло быть моделью для авторов "Двенадцати стульев"... Довольно большая комната, в которой помещается профессор Любимов с женой и дочерью. Мне не то 19, не то 20 лет, добрейшая Вера Ивановна поит меня чаем... Николай Николаевич, домашний, обаятельный, приятный, называет меня на французский лад — Андре.

Не знаю, почему профессор Любимов, десятки лет прослуживший к тому времени в таких влиятельных наркоматах (будущих министерствах), как иностранные дела, финансы и внешняя торговля, ютился в этом общежитии. Впрочем, кажется, это и было общежитие Наркомата иностранных дел, который тогда помещался в старом здании на углу Кузнецкого моста и Большой Лубянки, близ страшного комплекса НКВД. Каждый раз, бывая там, я изумлялся стоящему перед этим зданием памятнику Воровскому — он был каким-то сутулым и колченогим. В молодые годы Николай Николаевич хорошо знал Воровского, одного из мучеников ранней советской дипломатии, убитого в Лозанне в 1923 г.

Есть ученые, главное дело жизни которых не в написанных ими книгах (хотя и в книгах тоже), а в прямом личном воздействии на поколения студентов, аспирантов, учеников. Таким видится мне Любимов, десятки лет преподававший в Институте внешней торговли, МГИМО, Московском финансовом институте, Высшей дипломатической школе. Когда отмечалось его восьмидесятилетие, в зале можно было увидеть видных дипломатов и известных ученых, блестящих журналистов и сильных хозяйственников. Как он сам сказал на этом юбилее, его учеником был даже герой одного приключенческого фильма про разведчиков. Он имел в виду, вероятно, Конона Моло́дого, учившегося в Институте внешней торговли двумя курсами после меня, который стал прообразом героя фильма "Мертвый сезон". Разумеется, учениками Любимова являются сотни и тысячи самых обыкновенных людей, каждый из которых чем-то ему обязан.

Николай Николаевич никогда не читал курс политической экономии, которая, надо думать, в тогдашнем догматизированном виде его мало и привлекала. Зато в разных учебных заведениях он читал несколько курсов, та-

ких, как мировая экономика, международные экономические отношения, финансы иностранных государств и еще что-то. В Институте внешней торговли он заведовал кафедрой валютно-финансовых дисциплин. Кабинет кафедры был украшен образцами старых русских акций и облигаций, которые было любопытно разглядывать. В этом памятном мне кабинете мы проводили под руководством Николая Николаевича заседания студенческого научного кружка, здесь он не раз беседовал со мной.

В мои студенческие годы это был, как говорится, представительный и чуть полноватый мужчина пятидесяти с небольшим лет, с крупным породистым лицом и слегка седеющей шевелюрой. Его розоватое, чисто выбритое лицо сияло неизменной доброжелательной улыбкой, приятный, богатый модуляциями голос легко наполнял аудиторию. Всегда хорошо одетый, пахнущий приятным одеколоном, Николай Николаевич был в наших глазах европейцем, человеком западной культуры, для нас привлекательной и малодоступной. Действительно, он был исключением среди нашей профессуры, хоть ее никак нельзя было назвать серой: до войны он бывал за границей и знал "тот" мир не понаслышке.

Наши девочки восхищались Любимовым. Вероятно, он вообще не был обойден вниманием женщин. Уж не знаю, был ли это серьезный роман или невинная дружба, но весь институт мог какое-то время наблюдать частые беседы и прогулки по коридорам Николая Николаевича с симпатичной 30-летней преподавательницей немецкого языка.

Лекции Любимова больше походили на увлекательные рассказы или вольные беседы. Если его курсы и строились по какому-то плану, то план этот был достаточно свободным и легко допускал любые отклонения и дополнения. Не помню, чтобы он пользовался на лекциях какими-нибудь записями или конспектами.

Николай Николаевич, выпускник юридического факультета Московского императорского университета 1917 г., конечно, хорошо знал новые правила игры и усвоил марксистско-ленинскую фразеологию. Но в его лекциях она опадала, как пустая шелуха. Оставались здравый смысл, информативность и занимательность.

Студенты любили эти своеобразные лекции, хоть иной раз добродушно посмеивались над пристрастием лектора к редким иностранным словам и красивым оборотам. Помню, по рукам ходила сочиненная каким-то остроумцем пародия, в которой такие слова и обороты были сгущены до бессмыслицы. Не знаю, дошла ли эта бумажка до профессора.

Разговор его всегда был оживленным, ярким и увлеченным независимо от того, беседовал он с седовласым коллегой или с безусым второкурсником. Любимов был поистине мастер беседы, человеческого общения, обмена мыслями. Нельзя сказать, что он был прост: его разговор был пересыпан цитатами и крылатыми словами на латыни, английском или французском языке и мог иной раз затруднять собеседника. Но доброжелательность и юмор искупали это и вместе с ученостью создавали неповторимое обаяние.

В 1947—1948 гг. едва ли не главным делом Любимова был перевод книги Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег". Я уже писал, что, по слухам, издание было предпринято по указанию Сталина. Не знаю, кто выбрал его в переводчики, но полагаю, что это было сделано на каком-то весьма высоком уровне. Легче догадаться, почему именно он был выбран. Любимов был европейски образованный человек, знаток языков. Он писал о Кейнсе (правда, не как о теоретике, а скорее как о дипломате и публицисте) еще в начале 20-х годов и даже лично встречался с ним в Генуе во время известной международной конференции 1922 г.

Но трудности перевода были огромны. Около двадцати лет в СССР не издавались книги западных экономистов, терминология нашей официальной политической экономии далеко разошлась с терминологией мировой экономической мысли. В кратком вводном слове переводчик справедливо говорил, что многие термины "не имеют установившегося эквивалента в русском языке". Новаторская и сложная книга Кейнса требовала от переводчика не просто владения терминологией, но и основательных знаний в области современной экономической науки. Этих знаний переводчику не хватало, он возмещал пробелы по ходу своей работы. Короче, держа сейчас перед со-

бой эту книгу, я не завидую Николаю Николаевичу. Тем больше чести делает ему то, что он все же успешно довел дело до конца.

Мой однокурсник и друг Борис Болотин, который технически помогал ему в работе над книгой, рассказывает, какого напряжения это стоило Любимову. Из разговоров, которые они вели, виден и любопытный характер Николая Николаевича, его жизнелюбие и юмор. Однажды Блюмин, который должен был написать к книге вступительную статью, сказал Любимову, что он трижды перечитал перевод одной из глав, но, не поняв ее, был вынужден обратиться к подлиннику. На что Любимов сказал: "Вам следовало просто прочесть это четвертый раз, и тогда подлинник бы вам не понадобился".

На моих глазах Любимов проявил и другую достойную уважения черту характера. Весной 1949 г. дошла очередь на проработку до наших институтских "космополитов" и "низкопоклонников". В докладе заместителя директора на открытом партийном собрании были задеты практически все ведущие профессора, в первую очередь евреи, но не только. Хотя Любимову досталось не очень сильно, он категорически отказался каяться и признавать ошибки. С красным от гнева и обиды лицом (он вообще легко краснел) он взял слово и сначала стал, к некоторому недоумению зала, доставать из карманов какие-то бумаги и бросать их перед собой на кафедру. Выждав минуту, Николай Николаевич разразился бурной речью. Бумаги оказались благодарностями от высших деятелей партии и государства за его работы, особенно за сделанный в свое время подсчет и анализ советских претензий к державам Антанты за ущерб, нанесенный интервенцией. Среди этих деятелей прозвучали, помнится мне, имена Ленина и Фрунзе. Вероятно, с еще большим основанием он мог сослаться на наркома иностранных дел Чичерина и его заместителя в 20-х годах Литвинова, но эти имена были в то время практически под запретом. Сталинско-молотовская дипломатия их не признавала.

Это было верно рассчитано: с демагогами надо быть демагогом. Едва ли Любимову помогли бы сколь угодно убедительные доказательства того, что он марксист, патриот, критик капитализма, а вовсе не "буржуазный объек-

тивист" и "поклонник Кейнса". Обвинители должны были задуматься, кто может стоять за Любимовым, если он оперирует такими бумагами и именами и если ему поручили работу по указанию Сталина. Они, видимо, и задумались. Лучший способ защиты — нападение. Эта мудрость в данном случае успешно оправдала себя.

Кстати, о молодых годах Любимова. На Генуэзской конференции он был экспертом советской делегации и участвовал в переговорах об урегулировании взаимных претензий, а также в заседаниях финансовой комиссии. Вероятно, для Любимова это были самые дорогие воспоминания: звездный час молодого ученого.

Он рассказывал тому же Болотину следующий эпизод, не попавший, видимо, ни в какие мемуары, в том числе в его собственные, опубликованные маленькой книжечкой в 1963 г.

Советская делегация в Генуе категорически отказалась признать царские долги и другие подобные претензии западных держав, но вместе с тем добивалась обещаний новых вливаний *капитала* в экономику будущего Советского Союза, официально созданного несколько месяцев спустя. Ллойд Джордж, британский премьер-министр, по этому поводу сказал Чичерину: «Ну, при такой позиции вы можете рассчитывать только на "Капитал" Карла Маркса». Надо сказать, именно так оно и вышло.

Трудно сказать, многим ли рисковал Любимов в 1949 г., смело перейдя в наступление. Обвинения против него и его коллег могли быть абсурдными, но по этой причине еще более опасными. Докладчик на том памятном собрании использовал юмор, от которого мог пойти мороз по коже. Об одном из профессоров было сказано, что он в своей книге выступает как консультант американских империалистов. Докладчик сделал зловещую паузу и добавил: "Надеюсь, что бесплатный".

Факт тот, что позиции Любимова после этого как будто укрепились. В последующую четверть века он собрал все мыслимые для ученого советские награды, став лауреатом Государственной (в то время — Сталинской) премии, заслуженным деятелем науки и, наконец, Героем Социалистического Труда.

Премия была ему дана за книгу, заглавие которой было "заострено" в духе времени: "Международный капиталистический кредит — орудие империалистической агрессии". Полагаю, что он не сам это придумал. Вероятно, еще живы люди, которые из первых рук могли бы рассказать об аппаратных играх вокруг этих премий в последние годы жизни Сталина. Я же могу лишь передать, что слышал в те времена.

Конечно, естественнее было бы дать премию за работу по советской экономике, по политэкономии социализма. Но там царила неопределенность, связанная с подготовкой пресловутого коллективного учебника, который должен был закрепить новые догмы сталинской эпохи. Никто не знал, что в конечном счете скажет Сталин. Люди в ЦК и в комиссии по премиям боялись ошибиться и поставить не на ту лошадь. Ради своей безопасности они предпочитали подбирать подходящие работы по капитализму, где риск такой ошибки был значительно меньше. Двумя годами раньше премия досталась другому моему доброму знакомому А.М. Алексееву за "Военные финансы капиталистических государств". Возможно, финансы и кредит казались "распределителям" премий уже совсем безопасной зоной: дело специальное, идеология не столь скользкая.

Н.Н. Любимов был яркой фигурой в московском научном и педагогическом мире 50—70-х годов. Само его присутствие благотворно влияло на климат в тех учебных заведениях, где он работал. Он был живым упреком некультурности, грубости, некомпетентности. Все, кто общался с ним, говорят о его доброжелательности и доступности. Есть такое выражение: теплый человек. Мне думается, оно очень подходит к Николаю Николаевичу.

Он писал и редактировал учебники, особенно выходившую трижды книгу "Международные экономические отношения", руководил бесчисленными аспирантами, выступал на защитах диссертаций. Профессор на все времена.

К сожалению, я нечасто встречал его после 1953 г., у меня мало личных воспоминаний о последних годах его жизни. Мне даже как-то трудно представить себе Люби-

мова 70—80-летним. Слишком прочно отпечатался в моей памяти его облик, каким он был в мои студенческие годы.

Но один эпизод я расскажу в заключение. Во второй половине 60-х годов я написал книгу, которая должна была служить популярным введением в историю экономической мысли. Свою задачу я видел в том, чтобы "очеловечить" эту науку, приблизить ее к современности, слегка ослабить оковы догматизма, в которые она была закована многие годы.

Политиздат, который собирался выпустить книгу, отправил рукопись на внутреннюю рецензию профессору, имя которого я не хочу называть, хотя он давно умер. Рецензия оказалась разгромной в характерном стиле недоброй памяти времен. "Автор обнаружил некомпетентность в истории экономических учений..." Его "толкование Маркса устроит любого буржуазного экономиста...", "вульгаризация Маркса превращается в какую-то тарабарщину..." В результате "работа написана на крайне низком идейно-теоретическом уровне".

Пропали три года работы. Погибла моя добрая репутация в издательстве. Куда я сунусь с такой рецензией?

С этими мрачными мыслями я позвонил трем или четырем умудренным опытом коллегам, чтобы посоветоваться. Самый разумный совет я получил от Любимова.

"Не волнуйтесь и не торопитесь, — сказал он. — Примите максимум замечаний, которые вам кажутся сравнительно разумными, а по остальным дайте аргументированный ответ".

Так я и сделал. Издание книги задержалось года на полтора, но в конечном счете это пошло ей на пользу. Общий тираж этой книги в разных изданиях превышает, я думаю, четыреста тысяч.

Если бы я попытался двумя словами определить личность Николая Николаевича Любимова, я бы сказал: он был настоящий *русский интеллигент*. Людей, достойных этого звания, в наше время не так много. Хорошо бы нам сберечь их.

Содержание

Несколько вводных слов
3
Опыты быстротекущей жизни
4
Саймон С. Кузнец *(1901—1985)*
11
Реймонд У. Голдсмит *(1904—1988)*
19
Рой Ф. Харрод *(1900—1978)*
25
Дж. Кеннет Гэлбрейт *(р. 1908)*
31
Иосиф Адольфович Трахтенберг *(1883—1960)*
40
Евгений Самуилович (Ене) Варга *(1879—1964)*
45
Израиль Григорьевич Блюмин *(1897—1959)*
50
Пол А. Самуэльсон *(р. 1915)*
56
Василий Леонтьев *(р. 1906)*
63
Лоренс Р. Клейн *(р. 1920)*
70
Леонид Витальевич Канторович *(1912—1986)*
76
Алек Ноув *(1915—1994)*
81
Николай Николаевич Любимов *(1894—1975)*
87

Андрей Владимирович АНИКИН

Люди науки

Встречи с выдающимися экономистами

Редактор *Е.С. Дых*

Художник *И.П. Смирнов*

Технический редактор *Л.А. Зотова*

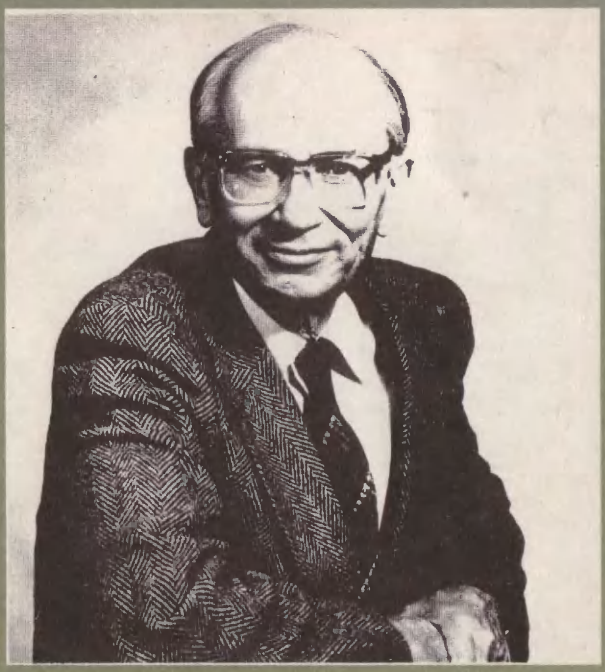
Корректоры *А.С. Рогозина, Т.В. Евстегнеева*

ЛР № 070877 от 22 февраля 1993 г.

Подписано в печать 09.08.95. Формат 84×108$^{1}/_{32}$.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,04. Уч.-изд. л. 5,26. Тираж 5000 экз. Заказ № 107. Изд. № 72.

"Дело Лтд"
117571, Москва, пр. Вернадского, 82

Отпечатано на полиграфической базе ООО "Дело Лтд"



Андрей Владимирович АНИКИН — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки России. Заведующий сектором Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Лауреат академической премии имени Н.Г.Чернышевского.

А.В.Аникин — автор ряда научных трудов, среди которых: ***Кредитная система современного капитализма. Исследование на материалах США; Валютные проблемы Западной Европы; Золото: международный экономический аспект***. Он — мастер популярного и научно-художественного жанра, о чем свидетельствуют книги: ***Адам Смит*** *(в серии «Жизнь замечательных людей»)*; ***Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса; Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина***.

Под редакцией А.В.Аникина издан ***Англо-русский словарь по экономике и финансам***.

Предлагаемая читателям книга представляет собой заметки автора о встречах, беседах и совместной работе с выдающимися российскими и зарубежными экономистами.

ДЕЛО Лтд